

Алексей Шмелев

Язык и культура: есть ли точки соприкосновения?

В электронном издании «Антропологического форума» (2012, №16 Online) была опубликована статья Анны Павловой «Можно ли судить о культуре народа по данным его языка?». Статья нацелена на обоснование отрицательного ответа на поставленный вопрос.

Однако начинается она с сюжета, не имеющего непосредственного отношения к обсуждаемой проблеме и вообще к соотношению языка и культуры. Автор начинает свою статью так: «У немецкого глагола *nippen* есть точный русский эквивалент *пригубить*. Но предложение *Er nippte an seinem Kaffee* с помощью этого эквивалента не перевести, поскольку глагол *пригубить* имеет ущербную грамматическую парадигму: он обозначает только однократное действие» [3]¹. Не сразу ясно, какую связь видит автор между проблемами соотношения языка и культуры и проблемами перевода. В дальнейшем по ходу статьи автор касается также вопросов лексической семантики, проблемы соотношения языка и мышления, а также некоторых социолингвистических вопросов; при этом далеко не всегда легко определить, чем обусловлен переход от одного сюжета к другому. Поэтому, прежде чем перейти к разбору статьи А. Павловой, полезно провести необходимые разграничения между обсуждаемыми дисциплинами. В частности, будут проведены разграничения между семантикой, «лингвокультурологией» и «переводоведением» и рассмотрены связи между ними. Социолингвистики и вопросов соотношения языка и мышления (рассматриваемых, в частности, в рамках психолингвистики, общей философии языка и некоторых направлений активно развивающейся в последние годы когнитивной лингвистики) я буду касаться лишь в той степени, в какой они связаны с обсуждаемыми проблемами.

Необходимые разграничения

В последующем изложении речь будет в основном идти о явлениях, специфичных для того или иного языка или той или иной культуры (причем основное внимание будет уделяться русскому языку и культуре). Явление можно считать специфичным для

Статья написана при финансовой поддержке РГНФ (в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Эволюция русского лексикона в европейской лингвистической перспективе», проект № 11-04-00105а) и РФФИ (в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Контрастивное корпусное исследование специфических черт семантической системы русского языка», проект № 13-06-00403 А). Я благодарен Анне Андреевне Зализняк и Григорию Ефимовичу Крейдлину, которые прочли первоначальный вариант статьи и сделали ряд редакторских замечаний (я постаралась эти замечания отчасти учесть). Уже после того как данная статья была закончена, вышла в свет статья [Зализняк 2013], и я с удовольствием в очередной раз убедился в сходстве наших позиций по большинству обсуждаемых вопросов.

¹ Здесь и далее в квадратных скобках после цитат из статьи А. Павловой указываются страницы.

некоторого языка (лингвоспецифичным), если оно присутствует не во всех языках мира; явления, присутствующие во всех языках, являются универсальными. Так, лингвоспецифичным для французского и немецкого языков является наличие артиклей (в русском языке, как известно, артиклей нет); лингвоспецифичным для русского и немецкого языков является склонение существительных (во французском языке существительные не склоняются). Понятно, что установить лингвоспецифичность какого-либо языкового явления существенно проще, нежели установить универсальность: довольно привести пример хотя бы одного языка, в котором данное явление не имеет места (тогда как для доказательства универсальности, вообще говоря, следовало бы осуществить проверку по всем языкам мира). Аналогично понимается специфичность (и, соответственно, универсальность) культурного явления для той или иной культуры.

Универсальные явления в каком-то смысле вытекают из «природы вещей». Напротив того, лингвоспецифичные явления и явления, специфичные для той или иной культуры, являются конвенциональными; иными словами, они определяются языковыми и культурными конвенциями. Изучение соотношения языка и культуры представляет собою изучение соотношения языковых и культурных конвенций.

Поскольку суждения о культуре, сделанные на основе языковых данных, предполагают детальный семантический анализ этих данных, в центр внимания при обсуждении вопроса, поставленного в заглавии статьи А. Павловой, должна попасть лингвистическая семантика. Действительно, А. Павлова касается вопросов семантики и упоминает некоторые понятия и термины, используемые в лингвистической семантике: сема, концепт, полисемия, языковая картина мира. Раскроем содержание некоторых из этих понятий.

Языковые единицы определенным образом концептуализуют внеязыковую действительность. В одной из давних статей Барбары Холл Парти рассматриваются предложения *Поскольку мне об этом сказал врач, я склонна воспринимать это серьезно* и *Поскольку мне об этом сказал сосед сверху, я склонна воспринимать это серьезно*. Отмечается, что причина беспокойства выражена в этих предложениях по-разному, даже если сосед сверху по профессии является врачом: один и тот же человек концептуализуется в этих предложениях различным образом.

Единицей языковой концептуализации действительности является концепт. Можно сказать, что концепт осуществляет связь между смыслом языкового выражения и обозначаемым им фрагментом внеязыковой действительности. Тот или иной концепт скрывается за всякой языковой единицей; часто один концепт выражается рядом

языковых единиц (обычно принадлежащих одному фрагменту словообразовательного гнезда): концепт 'гордость' в русском языке выражается словами *гордый, гордо, гордость, гордится*. На практике концепты принято обозначать при помощи существительных (или именных групп): не говорят о «концепте, скрывающемся за предлогом *в*», а говорят о 'концепте нахождения внутри'.

В некоторых семантических теориях (в первую очередь следует назвать теорию «естественного семантического языка» Анны Вежицкой и Клиффа Годдарда) постулируется существование небольшого набора (чуть больше 50) элементарных концептов², которые предполагаются врожденными и универсальными (т. е. имеющими вербализацию во всех естественных языках). Из элементарных концептов строятся более сложные концептуальные конфигурации, которые, как правило уже не являются универсальными (т. е. входят в значение языковых выражений не во всех языках).

Некоторые концептуальные конфигурации, входящие в значение языковых единиц, соответствуют определенному представлению об устройстве какого-то фрагмента мира. Так, в русском языке проводится различие между *фруктами* и *ягодами*: слово *фрукт* употребляется по отношению к плоду, который, как правило, слишком велик, чтобы его положить в рот целиком; поэтому фрукты едят, откусывая или отрезая от них кусочки; слово *ягода* используется по отношению к плодам, которые можно положить в рот целиком (часто даже несколько сразу). При этом и фрукты, и ягоды едят преимущественно для удовольствия как десерт, в отличие от *овощей*, которые едят для насыщения или в качестве гарнира, причем часто с солью.

Концептуальные конфигурации, соответствующие представлению об устройстве внеязыковой действительности, как правило, относятся к неассертивной части значения языковых единиц: пресуппозициям, коннотациям, фоновым компонентам значения. Именно поэтому участники коммуникации на данном языке обычно принимают их на веру, не задумываясь. Однако их наличие в семантике языковой единицы становится очевидным, поскольку высказывания, которые в неявном виде противоречат этим представлениям, воспринимаются как аномальные. Так, плоды *малины* и *земляники* для носителей русского языка являются *ягодами*, а *помидор* и *арбуз* – нет, и это видно, в частности, из того, что в нормальной коммуникации об арбузе или помидоре нельзя сказать: *Дай мне эту ягоду*. Напротив того, смысловые компоненты, которые составляют ядро значения слов и выражений и попадают в фокус внимания говорящих, могут быть (и

² Наряду с выражением «элементарные концепты», в близком значении используют выражения «элементарные смыслы», «семантические примитивы» или просто «сема» (впрочем, термин «сема» ощущается несколько устаревшим).

нередко бывают) осознанно оспорены носителями языка. Поэтому они не входят в систему представлений, общую для всех говорящих на данном языке. Но, разумеется, говорящие могут намеренно поместить в фокус внимания неассертивные компоненты значения и сообщить, что помидор с «научной» точки зрения – ягода, а плоды малины и земляники ягодами как раз не являются.

Система концептуальных конфигураций, соответствующих представлениям об устройстве внеязыковой действительности, образует языковую картину мира. Реконструкция языковой картины мира является одной из важнейших задач современной лингвистической семантики. Она требует детального анализа значений всех языковых единиц данного языка и выявления в них неассертивных компонентов. Так, выявив отрицательную оценку, содержащуюся в словах *доносить* <на кого-либо>, *донос*, *доносчик*, мы можем сделать вывод, что для русской языковой картины характерно неодобрение поведения того, кто сообщает властям о действиях человека, которые с точки зрения властей являются предосудительными и могут повлечь за собою репрессивные меры в отношении этого человека. Установив, что слово *страх* обозначает чувство, которое обычно испытывает человек, полагающий, что может произойти нечто плохое, чего он не может предотвратить, мы можем сделать вывод, что, с точки зрения русской языковой картины мира, чувство страха вполне обычно для людей, попавших в такую ситуацию.

Перейдем к вопросам соотношения языка и культуры. Соответствующие проблемы с давних пор привлекают внимание исследователей (они изучаются в рамках антропологии, лингвистической прагматики, этнолингвистики), однако в России внимание этим проблемам стало уделяться лишь сравнительно недавно. В Советском Союзе они в основном изучались в рамках вспомогательной дисциплины, которая использовалась преимущественно при преподавании русского языка иностранцам и именовалась «лингвострановедение»³. В последние десятилетия группа дисциплин, в рамках которых рассматриваются вопросы соотношения языка и культуры, получили несколько неуклюжее наименование «лингвокультурология».

Взаимодействие языка и культуры имеет два аспекта. Во-первых, составной частью культуры является культура использования языка; во-вторых, особенности культуры, обслуживаемой некоторым языком, обычно тем или иным образом отражаются в этом языке.

³ См., напр., книгу [Верещагин, Костомаров 1973]. Некоторые вопросы, связанные с культурным аспектом языковой деятельности рассматривались также при обсуждении культуры речи и речевого этикета.

Первая сторона взаимодействия языка и культуры может быть иллюстрирована рядом норм, касающихся использования языка таким образом, как это принято в соответствующей культуре. Сюда относятся, напр., такие вопросы: когда и кому допустимо и следует делать комплименты; как отвечать на комплименты; с кем и когда следует здороваться (напр., следует ли здороваться с незнакомыми людьми, следует ли здороваться с человеком при повторной встрече в тот же день).

Во многих языках (в частности, европейских) различаются способы обозначения собеседника и того, что к нему относится, в зависимости от степени формальности общения (в русском языке обычно говорят об обращении «на вы» и «на ты»). Круг ситуаций, когда следует использовать более формальное обращение, различен в разных языках (а точнее, в обслуживаемых этими языками культурах); различается и языковое оформление более формального обращения. При этом есть языки (напр., современный английский, современный шведский, современный иврит), в которых нет непосредственного аналога противопоставления обращений «на вы» и «на ты» (можно сказать, что в этих языках во всех случаях используется обращение, аналогичное обращению «на ты»).

Во многих языках, для того чтобы привлечь внимание собеседника и инициировать общение с ним, используют так называемое обращение (когда называют имя или какую-либо характеристику человека, к которому обращаются: *Maia! Madame! Молодой человек!*). При этом в русском речевом общении обращение часто используется и в середине разговора, напр. в случае, когда собеседника надо в чем-то убедить (*Ну, Maia, ты же сама понимаешь*), а также в тех случаях, когда надо мягко выразить несогласие, смягчить отказ и т. п. – словом, когда надо подчеркнуть установку на контакт и взаимопонимание. Для финского речевого общения подобное использование обращений совершенно не характерно, так что, когда русские в разговоре с финнами (на каком бы языке разговор ни велся) используют обращения таким образом, это иногда приводит к недоразумениям при межкультурной коммуникации. Финский участник коммуникации может воспринять это как панибратское похлопывание по плечу или как скрытое обвинение в том, что он не слушает и надо специально привлекать его внимание [Leinonen 1985]. Во французской деловой и официальной переписке обращение используется не только в начале письма, но и в составе заключительной формулы (*Veillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués*), а по-английски в заключительную формулу (*Sincerely yours*) обращение не включается.

Другая сторона взаимодействия языка и культуры связана с отражением в языке некоторых особенностей культуры, обслуживаемой данным языком. Объекты, характерные для той или иной материальной культуры, часто получают в языке, обслуживающем эту культуру, специальное наименование. Стандартная структура современного русского обеда обуславливает тот факт, что субстантивированное прилагательное *первое* в русском языке имеет значение 'суп'. Различение *овощей* и *фруктов* в русском языке (как и в большинстве европейских языков) связано с разными модусами использования растительной пищи.

В языке отражается и тот аспект культуры, который связан с использованием языка. Наличие в русском языке глагола *тыкать* ('использовать обращение *ты* в ситуации, когда по мнению говорящего следует использовать обращение «на вы»') обусловлено тем, что в русском речевом этикете различаются формальный и неформальный способ именования собеседника. Понятно, что этот глагол трудно перевести на английский язык, в котором соответствующее разграничение не проводится.

Существенно, что для обоих аспектов взаимодействия языка и культуры связь между языковыми и культурными конвенциями оказывается двусторонней. Культурная сторона использования языка должна учитываться в собственно лингвистическом описании соответствующих языковых единиц (напр., русских местоимений *ты* и *вы*). В то же время тот факт, что культура находит отражение в языке, дает возможность на основе наблюдения над поведением языковых единиц делать вывод об особенностях соответствующей культуры. Даже если бы мы не располагали сведениями о структуре русского обеда, знания «гастрономического» значения русских слов *первое* и *второе* позволило бы нам сделать относительно этой структуры достоверные выводы (*второму* у русских предшествует суп) и, в частности, установить, что *закуска*, которая в русском обеде нередко предшествует *первому*, является факультативным элементом. Аналогично, знание того, что в итальянском языке сочетание *primi piatti* 'первые блюда' обыкновенно относится к разным видам «пасты» (макаронных изделий), позволяет понять, как устроен итальянский обед (можно добавить, что, подобно русским закускам, в итальянском обеде *первому* блюду могут предшествовать так называемые *antipasti*). Знание того, что в русском языке помидоры концептуализуются как *овощи*, а не *фрукты* и не *ягоды*, позволяет заключить (даже если бы мы этого не знали из собственного опыта), что помидоры у русских подаются чаще всего с солью в составе закусок или вместе со вторым блюдом, а не с сахаром в качестве десерта.

Выявление особенностей культуры «через язык» особенно важно, когда мы имеем дело с древними культурами, о которых у нас нет достаточно полных и надежных сведений. Если мы обнаружим, что в памятниках на некотором языке различаются слова со значением ‘наследство по закону’ и ‘наследство по завещанию’, это даст базу для установления важных фактов касательно наследственного права в соответствующем обществе. Исследование металлургической терминологии какого-либо из древних языков дает представление о том, какие приемы обработки металла были в то время известны данному народу.

Анализ значения языковых единиц позволяет делать и менее тривиальные выводы об особенностях соответствующей культуры, в частности о ее ценностных установках. Так, компонент отрицательной оценки в семантике русского слова *мелочность* дает основания для заключения, что русская культура не одобряет погони за небольшой выгодой, желания «не упустить своего» даже в мелочах.

Разумеется, семантика одного слова не дает возможности определить, насколько соответствующая ценностная установка важна для культуры. Культурную значимость имеют сквозные мотивы языковой картины мира, т. е. представления, повторяющиеся в семантике целого ряда языковых выражений. Так, в семантике русских слов *высокомерие* / *высокомерный*, *надменность* / *надменный*, *спесь* / *спесивый*, *кичливость* / *кичливый* / *кичиться*, *самонадеянность* / *самонадеянный*, *самомнение*, *гонор*, *гордыня* можно выявить компонент ‘плохо быть слишком высокого мнения о себе самом и свысока относиться к другим’. Эту ценностную установку вполне можно считать сквозным мотивом русской языковой картины мира, имеющей культурную значимость (сходная установка присутствует во многих других культурах).

Здесь опять-таки лингвистический анализ особенно важен применительно к ушедшим культурам, к которым у нас нет непосредственного доступа, так что мы вынуждены судить об их ценностных установках на основании косвенных данных. Сказанное можно иллюстрировать на примере слова *греховодник*, проанализированного в статье [Живов 2009]. Это слово активно использовалось в русском языке (часто – в рамках изображения «народной» речи) начиная с конца XVIII и особенно часто в XIX в., обозначая людей, совершающих действия, предосудительные с религиозной точки зрения, но при этом выражая снисходительно-ироническое отношение к данному лицу. В XX в. это слово продолжало употребляться по инерции, хотя связь с собственно религиозными предписаниями стала ощущаться в меньшей мере; в словарях советского времени оно снабжалось пометой «устарелое». В двуязычных словарях оно обычно переводится

словами со значением ‘грешник’; очевидно, что при этом теряется ряд неявных смыслов. Слово *греховодник* не может обозначать человека, совершившего действительно серьезный грех, напр. убившего многих людей, или отрекшегося от веры, или ограбившего церковь, или изнасиловавшего несовершеннолетнюю, а также повинного в грехе гордости или предавшегося ереси. Не случайно можно сказать *великий грешник* ‘человек, который совершил много тяжких грехов’, но странно [?]*великий греховодник*. На грехи, которые совершает *греховодник*, говорящий обычно считает возможным смотреть как бы сквозь пальцы; чаще всего это грехи, связанные с сексуальной стороной жизни. Чрезвычайно частотное сочетание *старый греховодник*, обозначающего человека в годах, не оставляющего любовных домогательств. Анализ употребления этого слова позволяет заключить, что «житейская» народная мораль того времени относилась к сексуальным прегрешениям снисходительно и отчасти иронически, хотя осознание греховности сохранялось⁴.

Представления, характерные для соответствующей культуры, обычно не нуждаются в том, чтобы их специально подчеркивать в процессе коммуникации между представителями данной культуры. Они, как правило, кроются в неассертивных компонентах значения языковых единиц и тем самым являются частью языковой картины мира. Поэтому реконструкция языковой картины мира имеет первостепенное значение для описания взаимодействия культуры и языка, в частности для выявления особенностей культуры на основе детального семантического анализа языковых единиц, выявляющего в них неассертивные компоненты значения.

Итак, различия культур часто коррелируют с различиями языков (или разновидностей одного языка), обслуживающих эти культуры, и соответствующих языковых картин мира. При межкультурной коммуникации (общении между представителями разных культур) представления, специфичные для одной из этих культур и не попадающие в фокус внимания при коммуникации внутри этой культуры, могут стать камнем преткновения. Так, в секулярной европейской культуре с некоторого момента гордость перестала восприниматься как один из самых гнусных пороков, первый из смертных грехов; соответственно и слова, обозначающие ‘гордость’, во многих европейских языках, в том числе в русском языке, утратили отрицательные коннотации и стали употребляться скорее с положительной оценкой. Однако культура, исходящая из традиционной системы ценностей и соответствующего словоупотребления, не исчезла полностью. Когда одна из

⁴ Известная эпиграмма Александра Пушкина про «капитана Борозду», содержащая слово *греховодник*, показывает снисходительное отношение к гомосексуальным наклонностям; не вполне ясно, было ли это индивидуальным отношением Пушкина или было вообще свойственно «житейской» морали того времени.

корреспонденток Антона Чехова, ориентируясь на новое словоупотребление, назвала его «гордым мастером», он написал ей, что «горды только индюки».

Еще больше препятствий для взаимопонимания может возникнуть, когда при межкультурной коммуникации хотя бы одному из участников приходится говорить на неродном языке⁵. Здесь мы подошли к проблеме переводимости языковых выражений. Заметим, что следует различать переводимость выражения в конкретном тексте (она в значительной мере определяется целями перевода) и наличие у него точного словарного эквивалента. Понятно, что для вопросов, связанных с возможностью использовать семантический анализ для выявления особенностей культуры, существенно именно наличие и отсутствие словарного эквивалента, а вопросы практического перевода отходят на задний план.

Тем не менее стоит остановиться на некоторых моментах, связанных с практическим переводом. Во-первых, это касается случаев, когда высказывание вполне переводимо, но в культуре языка перевода в соответствующей ситуации обычно используется другой способ выражения. Так, русский вполне может сказать официанту в ресторане *Принесите, пожалуйста, меню*. Фраза может быть легко переведена на английский язык (*Please bring me the menu*), но по-английски перевод звучит несколько невежливо, лучше сказать: *Could I see the menu?* [Ларина 2009: 272]. Точно так же русское высказывание *Вы не правы* значительно вежливее, нежели английское *You are wrong*. Можно ли считать буквальные переводы на английский язык адекватными? Ясно, что это зависит от того, как мы понимаем адекватность перевода⁶. Во-вторых, у культурно нагруженных слов плотность ассоциативного поля может теряться при переводе. Так, французское слово *flâner* в большинстве контекстов хорошо переводится русским словом *прогуливаться*; но слово *прогуливаться*, в отличие от *flâner*, в русском языке не обладает высоким культурным статусом [Левонтина, Шмелев 1999: 284]. Не случайно для передачи культурного ореола французского глагола иногда используют заимствованный глагол *фланировать*.

Существенно, что в повседневной коммуникации обычные, неискушенные носители языка при необходимости передать специфичный иноязычный концепт, отсутствующий в языке общения, часто не морочат себе голову поисками подходящего переводного

⁵ Разнообразные примеры того, как неудачный выбор английского выражения носителями русского языка ведет к коммуникативному провалу, приведены в книге [Виссон 2007].

⁶ В какой-то момент мне понадобилось перевести на английский язык высказывание русского врача, обращенное к ребенку: *Сейчас может быть немножко больно, но ты потерпи*. Все мои американские информанты сказали, что американский врач не скажет ничего подобного; скорее он скажет *It won't hurt* 'Больно не будет'. Русское высказывание не является непереводимым в собственном смысле слова, но его американский аналог (нечто вроде *It may be a little painful; you'll have to grin and bear the pain*) неупотребителен и вызывает у носителей языка совсем иные ассоциации, нежели исходное высказывание.

эквивалента, а используют заимствование. Собственно, глагол *фланировать* стал использоваться в русских текстах именно потому, что глагол *прогуливаться* не передает всех нужных культурных ассоциаций «фланирования» и удобнее не пытаться задать эти ассоциации посредством переводческих ухищрений, а просто заимствовать исходный глагол. По той же причине многие русские евреи хорошо знают и даже используют слова *шлимазл* или *халоймес*; русские, знакомые с американской бытовой культурой и ориентирующиеся на представленную в ней систему ценностей, могут в своей речи оставлять без перевода слова *challenge* или *fun*.

Многое из сказанного может касаться межкультурной коммуникации и вне непосредственных рамок перевода, напр. когда человек воспринимает текст на чужом языке через призму родного языка (и вычитывает из текста вовсе не те «скрытые» смыслы, которые автор имел в виду вложить в него). Схожая ситуация имеет место и в случаях, когда некто воспринимает текст, который как будто принадлежит его родному языку, но в действительности составлен на иной его разновидности, напр. на языке предшествующей эпохи. Отличие от ситуации перевода состоит здесь в том, что несовпадение используемых разновидностей языка и тем самым возможность неверного понимания может не осознаваться: современные читатели могут пребывать в заблуждении, что пушкинский текст понятен им уже в силу их знания русского языка.

Возвращаясь к статье Анны Павловой

В статье А. Павловой с самого начала удивляет то, что вполне правильные утверждения иллюстрируются сомнительными примерами; кроме того, автор делает из этих утверждений выводы, прямо противоречащие логике и здравому смыслу.

Как уже говорилось, статья, начинается с обсуждения «переводческих лагун». Автор справедливо отмечает, что наличие той или иной лагуны (переводческой или внутриязыковой) может быть обусловлено самыми разными причинами, так что затруднительно предсказать ее на основе общих соображений. Факт бесспорный и едва ли нуждается в особом подтверждении. Но примеры, посредством которых А. Павлова «подкрепляет» констатацию этого факта, далеко не столь бесспорны. Так, она пишет: «Можно сказать по-русски *удешевлять* (делать дешевле), но нельзя **удорожать* (делать дороже). Тем не менее есть экономические факторы, способствующие дороговизне, они вызывают рост цен. Более того, рост цен для современной России — явление более распространенное, чем их падение» [6]. Однако, обратившись к «Национальному корпусу русского языка» (<http://www.ruscorpora.ru>, далее – НКРЯ), мы легко обнаружим, что глагол *удорожать* встречается в современной русской речи не так уж редко и, по данным НКРЯ,

даже чаще, чем глагол *удешевлять*. В статье А. Павловой утверждается, что «не удастся с легкостью перевести короткое предложение *Wie ein Wurm nagte das Elend in meinem Herzen* (Н. Heine)», потому что «у глагола *глодать* в этом значении формы прошедшего времени нет» [4]. Достаточно обратиться к «Малому академическому словарю» [Словарь 1981], чтобы обнаружить пример, в котором глагол *глодать* в рассматриваемом значении употреблен в прошедшем времени: *Чиновничье честолюбие, должно быть, сильно его глодало* (Писемский). В текстах на русском языке, в том числе современных, нетрудно обнаружить и другие аналогичные примеры: *Досадное, тревожное чувство зависти глодало душу* (Федор Шаляпин); *Неясная тоска глодала всех без исключения граждан СССР* (Евгений Попов); *...глодало ощущение какого-то несчастья, которое постигло меня в те часы, пока я спал* (Елена Хаецкая); *...любопытство глодало меня изнутри, как червь* (Андрей Халов). Далее, А. Павлова утверждает, что человеку, который «нам надоел своим занудством», мы «из фонетических соображений» [5] не можем сказать: *Ну что ты за зануда!* (она даже снабжает это предложение звездочкой). Несложный поиск в электрическом Интернете дает сотни примеров употребления этой фразы. Наконец, А. Павлова пишет: «...пока не заходит речь о сравнении с другим языком, никто и не заметит пробела в собственном» [6]. Разумеется, это не так: множеству носителей русского языка (даже детям) прекрасно известна дефектность парадигм глаголов *убедить* и *победить* (нет форм первого лица единственного числа простого будущего времени) или существительного *мечта* (нет формы родительного падежа множественного числа).

«Лакунам» посвящен почти весь первый раздел статьи А. Павловой (его заголовок «Мысль и язык: свобода или детерминизм?» не дает адекватного представления о его содержании). Однако на протяжении всего раздела автор не поясняет, какое отношение «лакуны» имеют к возможности понимания культуры через язык (проблеме, которой, казалось бы, посвящена статья). Можно пытаться понять культуру на основании того, что есть в обслуживающем ее языке, но едва ли разумной была бы попытка понять культуру на основании «лакун».

Пожалуй лишь одно из замечаний в этом разделе имеет хотя бы косвенное отношение к проблемам взаимосвязи языка и культуры: А. Павлова отмечает, что многие явления, вполне распространенные в культуре, не имеют в соответствующем языке однословного обозначения, и упоминает в связи с этим такие действия, как *кататься на велосипеде*, *ходить пешком*, *разговаривать по телефону*, *отдыхать с палаткой*, *плавать на байдарке*. Само по себе это наблюдение тоже не содержит ничего нового (в предисловии к английскому переводу «Приглашения на казнь» (*Invitation to a Beheading*) Владимир

Набоков даже писал о проекте словаря толкований, которым недостает слов, выражающих соответствующий смысл⁷). Кроме того, А. Павлова не объясняет, почему для нее важны именно однословные наименования и чем ее не устраивают приведенные ею словосочетания⁸. Некоторый резон в этом можно усмотреть в связи с понятием «языковая картина мира» (которое, как мы помним, может играть важную роль в попытках понять культуру на основе языковых данных). Дело в том, что разного рода неассертивными смыслами, шлейфом ассоциаций чаще обрастают лексические единицы, а не свободные или относительно свободные словосочетания. Поскольку именно неассертивные компоненты значения являются конституирующими для языковой картины мира, а на ее основе и осуществляется соотнесение языка с культурой, понятно, что для темы статьи наличие односложного наименования (но не его отсутствие) может играть определенную роль. Однако в статье А. Павловой об этом эксплицитно ничего не говорится.

В следующем разделе, озаглавленном «Языковая картина мира и речевая деятельность» автор, действительно, обращается к понятию языковой картины мира и сообщает, что «рассуждения о статичной, данной человеку при рождении "языковой картине мира"» являются «умозрительно-идеологическими построениями» [8]. Точнее было бы сказать, что они являются полнейшим абсурдом. Как известно, язык (а значит, и языковая картина мира) вовсе не даются человеку «при рождении»; ребенок овладевает языком (и соответствующей языковой картиной мира) постепенно. Возможно, А. Павлова имела в виду «семантические примитивы» (элементарные концепты), которые А. Вежбицка и К. Годдард считают врожденными и тем самым универсальными (являющимися принадлежностью всех языков и культур). Но они-то как раз и не относятся к языковой картине мира! В радикальной форме тезис о врожденности большинства концептов (включая, напр., такие, как ‘охота’, ‘убеждать’, ‘убить’, ‘стол’ и даже ‘бюрократ’ и ‘карбюратор’) отстаивается Н. Хомским и Джерри Фодором. В соответствии с их теорией, концепты во всей (или почти всей) их сложности принципиально доступны еще до опыта. «Дети в основном усваивают ярлыки для концептов, которые они уже имеют»,— писал Хомский [Chomsky 1991: 29]⁹; но в теории Хомского и Фодора вообще нет места понятию «языковая картина мира».

⁷ Он предлагал статью ‘сокращать, расширять или иным образом изменять или заставлять изменять с целью запоздалого совершенствования свои собственные произведения при переводе’ (этот факт упоминает Ю.Д. Апресян в предисловии к второму тому своих избранных трудов [Апресян 1995: 6]).

⁸ Замечу, что сочетание *отдыхать с палаткой* мне показалось странным и я даже готов был утверждать, что по-русски так сказать нельзя; но вездесущий Интернет показал, что носители русского языка его используют (хотя, признаться, лишь из статьи А. Павловой я как-то понял, что это сочетание обозначает).

⁹ Ср. обсуждение теории Хомского и Фодора в книге [Wierzbicka 1996: 18-19; 211-214].

Я не знаю, является ли представление о языковой картине мира, «данной человеку при рождении», собственным изобретением А. Павловой или она где-то столкнулась с таким представлением. В любом случае это представление никак нельзя признать удачным изобретением.

В целом рассуждения А. Павловой о «языковой картине мира» изложены запутанно и неясно. Так, упоминая выражения, связанные с частями тела (напр., те, в которых сердце предстает как вместилище чувств), она говорит, что они «настолько же свидетельствуют о различии в мышлении целых народов, насколько и не свидетельствуют» [8]; что означает этот оборот, понять не так просто (как и не вполне ясно, что она понимает под «мышлением целых народов»). Как можно заключить из дальнейшего, здесь выражается сомнение в том, что понятие «языковая картина мира» имеет научную ценность. Но и это сомнение выражено в туманных выражениях. А. Павлова пишет: «Система метафор позволяет заключить, что в языке есть система метафор» [8-9] (замечание, безусловно, справедливое и глубокомысленное). И далее: «"Убежденность" носителей русского языка в том, что любовь живет в сердце, потому что такова их "наивная картина мира", не более чем фикция» [9]. Некоторая синтаксическая неоднозначность приводит к тому, что остается неясным, что именно А. Павлова называет «фикцией» и в каком смысле она употребляет это слово. Как можно понять, она подвергает сомнению две идеи: о том, что конвенциональные метафоры могут свидетельствовать о некоторых особенностях языковой картины мира, и о том, что особенности языковой картины мира могут оказывать влияние на какие-то представления носителей соответствующего языка. По поводу первой из этих идей можно заметить, что метафоры, как и устойчивые сравнения и производные слова, бывают основаны на коннотациях (т. е. как раз на тех смысловых компонентах, которые являются конституирующими для языковой картины мира) и могут свидетельствовать о наличии таких коннотаций. О том, что слово *свинья* в русском языке вызывает представление о нечистоплотности, свидетельствуют оборот *грязный как свинья* и глагол *свинячить*; о наличии у слова *лиса* коннотации хитрости свидетельствует переносное (метафорическое) значение этого слова 'хитрый человек' (и оборот *хитрый как лиса*). Кроме того, следует учитывать возможность совмещения значений, как в строке Михаила Лермонтова *Пустое сердце бьется ровно*: в ней *сердце* выступает и в своем основном значении (поэтому оно *бьется*) и как вместилище чувств (поэтому оно названо *пустым*, что свидетельствует о неспособности чувствовать). Переходя к вопросу о соотношении языковой картины мира и представлений носителей языка, можно заметить, что наличие у носителей русского языка представления, согласно которому люди думают головой, а чувствуют сердцем, подтверждается целым рядом фактов, причем не только

языковых. Вспомнив нечто, мы можем хлопнуть себя по лбу (а не по груди); задумавшись, чешем в затылке (а не в районе сердца); напротив того, переволновавшись, человек хватается за сердце (и мы понимаем, что от волнения может стать *плохо с сердцем*). Таким образом, сомнения А. Павловой по поводу означенных двух идей представляются безосновательными.

Дальнейшие рассуждения А. Павловой, направленные на то, чтобы поставить под сомнение понятие языковой картины мира, тоже не достигают своей цели. Она зачем-то приводит примеры не отмеченных в словарях окказионализмов и окказиональных метафор (то, что они встречаются в речи, – факт общеизвестный), и остается непонятно, хочет ли она этим сказать, что их следовало бы включить в словари или что словари вообще не нужны. Далее она отмечает: «Русский язык, каким он был двадцать лет тому назад, — это не нынешний русский язык. Изменились значения множества слов... Возникла масса новых слов и исчезла масса прежних» [10]. Можно согласиться с тем, что «лексическая система подвижна и переменчива», и никакой словарь не может отразить все появляющиеся новые слова и значения, которые появляются в языке. Однако, несмотря на это, лексикографическая работа не становится бессмысленной, и словари остаются самым востребованным лингвистическим продуктом. Из того, что язык изменяется, никак не следует формулируемое А. Павловой недоумение: «Какой смысл говорить о языковой картине мира, если вчера она была одна, а завтра другая и если она не совпадает у различных социальных групп?» [10]. Это рассуждение можно было бы отнести к любому синхронному лингвистическому описанию: если следовать такой логике, можно сказать, что не имеет смысла заниматься фонетикой, морфологией, синтаксисом, поскольку в истории языка изменяются и произносительные нормы, и морфология, и правила построения синтаксических конструкций. Вопрос о соотношении синхронии и диахронии в лингвистическом описании довольно сложен, но странно на основании того, что язык непрерывно изменяется, делать вывод, что синхронное описание языка вообще не имеет смысла. Напротив того, корректно описать изменения можно как раз на основе сравнения двух синхронных состояний языка: более старого и более нового (понимая, что в «старом» уже содержались зародыши «нового», а в «новом» сохраняются следы «старого»).

Дальнейшие рассуждения А. Павловой о соотношении языка и мышления можно пропустить, поскольку они не имеют непосредственного отношения к теме статьи – проблеме соотношения языка и культуры. Но в конце концов она переходит к указанной теме, и следующий раздел так и называется: «Соотношение языка и культуры».

В этом разделе А. Павлова замечает, что «в рамках русской культуры в составе СССР существовало несколько культурных сообществ, члены которых были объединены относительной общностью взглядов, привычек, традиций, стереотипных представлений, образа жизни: номенклатура, КГБ (тесно связанный с номенклатурой), госслужащие, военные, рабочие, колхозники, интеллигенция» [11]. (Можно согласиться с А. Павловой, когда она пишет: «Языки (идиолекты) у перечисленных социальных групп были в чем-то схожи, а в чем-то различны, и вопрос о том, чего в них было больше — сходства или различий — однозначного ответа не имеет» [11]. Необходимо только сделать поправку, состоящую в том, что термин «идиолект» принято использовать по отношению к индивидуальным особенностям языка одного лица; если же речь идет о социальной группе, уместнее использовать термин «социолект».) Далее она перечисляет некоторые речевые штампы, использовавшиеся в языке советской пропаганды, и сообщает, что «ни в одной из групп — внутри группы — этими штампами в обиходной речи никто не пользовался» [11]. Я не знаю, откуда у А. Павловой сведения о том, какими языковыми средствами пользовались в бытовой речи представители номенклатуры и сотрудники КГБ; но весьма вероятно, что рисуемая пропагандистскими штампами картина не была характерна для их бытовой культуры, так что отсутствие этих выражений в их бытовой речи не должно вызывать удивления. Однако умозаключение, которое делает А. Павлова, оказывается весьма неожиданным: «Если же рассматривать язык как источник культуры, то можно прийти к прямо противоположным выводам: раз в советское время говорили о трудовой вахте и о соцобязательствах по перевыполнению пятилетнего плана — значит, так думали (считали) — значит, такова и была тогда русская культура» [11]. По этому поводу она пишет: «Это неверная последовательность выводов, и она не имеет отношения к реальности» [11]. С тем, что приведенное умозаключение «не имеет отношения к реальности», пожалуй, можно согласиться; однако дело здесь не в «неверной последовательности выводов», а в том, что это умозаключение исходит из ложных посылок. Во-первых, странно рассматривать язык как «источник культуры»: язык является необходимым условием существования культуры и отражает ее, но никак не является ее «источником». Во-вторых, А. Павлова только что сообщила нам, что в быту эти штампы как раз не употребляли, так что неопределенно-личная конструкция «в советское время говорили» может ввести в заблуждение. В то же время с полным основанием можно говорить, что они заключали в себе элементы картины мира, которая навязывалась советской пропагандой.

При этом следует заметить, что некоторые советизмы проникали в бытовую речь, и это можно рассматривать как свидетельство того, что соответствующие представления стали

частью бытовой картины мира. Так, слово *жилплощадь* предполагало, что в СССР жилье не является собственностью живущих в нем людей, а принадлежит государству, которое распределяет его по своему усмотрению, и это представление вошло в сознание множества советских людей. Поэтому слово *жилплощадь* активно использовалось применительно к советской жизни, но странно было бы сказать (кроме как в шутку) **жилплощадь в Париже* [Левонтина 1995: 96].

Далее в рассматриваемом разделе А. Павлова обращает внимание на гетерогенность культуры и на то, что границы между культурами не обязательно совпадают с границами между языками. В самом деле, признание гетерогенности культуры является необходимой предпосылкой изучения соотношения культуры и языка. Здесь я позволю себе процитировать заключительные фразы моей статьи [Шмелев 2000] (вошедшей в книгу [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005]): «Границы между системами этики находят отражение в языке, но не совпадают с границами между языками. И поэтому мы можем (разумеется, с некоторой долей условности) говорить о традиционных христианских этических представлениях, современных секулярных представлениях и т. п.; но едва ли есть основания выделять особую “русскую этику”, “англосаксонскую этику”, “французскую этику” без дальнейших уточнений». Впрочем, мне представляются допустимыми и такие абстракции, как «европейская культура» (обслуживаемая разными языками) или «русская культура». Любопытно, что и А. Павлова как будто признает, что можно обнаружить некоторые черты, характерные для русской культуры в целом, но в качестве примеров приводит довольно маргинальные характеристики: «...не принято дарить на праздники четное количество цветов. День во многих семьях принято завершать чаепитием. Не принято здороваться за руку или целовать друг друга "через порог". На пожелание "Ни пуха ни пера!" полагается ответить "К черту!"» [13]. По большей части речь в этом отрывке идет о распространенных суевериях (вовсе не разделяемых всеми русскими). Ясно, что можно было бы найти более убедительные примеры: так, на обед в качестве *первого* блюда у русских принято есть суп, в качестве *второго* – твердое блюда, а завершается обед «сладким». Не принято здороваться с человеком, если вы уже ранее виделись в этот же день. Вежливое обращение к знакомому, но не близкому человеку предполагает именование его по имени-отчеству.

Впрочем, допустив что русская культура – «это не миф, она реально существует, даже будучи выражена очень небольшим набором общих для всех групп населения ценностных доминант, стереотипных представлений, привычек и традиций», А. Павлова настаивает на том, что уж заведомо «единого русского языка не существует» [14]. В подтверждение

этого она ссылается на исследование [Черняк 2009], в котором отмечается различие лексиконов разных поколений современного российского общества. То, что язык, и в частности его лексический состав, подвержен временному, региональному и социальному варьированию,— вещь общеизвестная. Но это никому не мешает составлять словари и грамматические описания языков, абстрагируясь от указанного варьирования. Кроме того, сам факт наличия культурного и языкового варьирования позволяет поставить вопрос о том, как эти два типа варьирования коррелируют друг с другом (в цитированной статье В.Д. Черняк как раз и делает выводы о различии лексиконов и, как следствие, взаимном непонимании поколений как результате разных культурных кодов). Варьирование культуры и языка никоим образом не указывает на отсутствие связи между ними.

Вопросы «лингвокультурологии» в статье А. Павловой

В нескольких последующих разделах А. Павлова обращается к вопросам «лингвокультурологии», и выясняется, что ее представления о соответствующем круге лингвистических дисциплин довольно фантастичны. В разделе, который называется «Причины появления лингвокультурологии», она обсуждает вопрос о причинах «появления лингвокультурологии именно в России и именно в конце XX в.» [15], и не вполне ясно, действительно ли А. Павлова считает, что «именно в России и именно в конце XX в.» соотношение языка и культуры было впервые подвергнуто научному изучению. Название «лингвокультурология» (повторю, не слишком удачное) действительно появилось в России в конце XX века, но сама проблематика давно известна в мировой науке и изучается в рамках таких дисциплин, как этнолингвистика, антропология, лингвистическая прагматика, социолингвистика. Приписывать России приоритет создания новой научной дисциплины на основании того, что для нее было изобретено название, все равно что утверждать, будто паровоз изобрели русские, на том основании, что слово «паровоз» возникло на русской почве (и, кстати, в отличие от «лингвокультурологии», составлено из русских по происхождению корней).

Понятно, что вопрос о «причинах» придуманного явления (появления лингвокультурологии именно в России в конце XX века) не имеет смысла; но все же упомяну, что в качестве одной из таких причин А. Павлова видит «отказ от марксизма как теоретической базы всех наук при советской власти» [16]. Интересно, действительно ли она считает, что все советские лингвисты были марксистами (не спорю, такие были, и даже среди весьма крупных лингвистов, а некоторые остаются марксистами и поныне, но все же, по моей субъективной оценке, для большинства лингвистов было характерно резко

отрицательное отношение к марксизму, тем более что он был официальной идеологией господствующего тоталитарного режима).

Надобно признать, что с основными подходами, лежащими в основе изучения соотношения языка и культуры, А. Павлова знакома не очень хорошо. Поэтому многие высказывания (подчас неудачно сформулированные) она интерпретирует совершенно неверно. Характерным примером может служить ее комментарий к некоторым высказываниям, касающимся названий чувств в разных языках. Она удивленно замечает, что некоторые исследователи (в сноске она упоминает книгу [Шаховский 2009]) «пишут: человек испытывает те эмоции, которые ему подсказывает его родной язык», и комментирует: «Свободы нет, следовательно, не только в мыслях, но и в чувствах. Всем управляет язык-демиург» [15]. Но дело в том, что культурной значимостью обладает не то, что чувствует человек «на самом деле»¹⁰, а то, о чем он способен поведать другим, а это как раз определяется свойствами языка, которым он пользуется (не обязательно родного).

В следующем разделе, озаглавленном «Цель и методы лингвокультурологии»¹¹, А. Павлова пишет: «...лингвокультурология исходит из того, что эпоха универсализма миновала и что в языках пора, наконец, отыскать и описать их специфические черты» [16]. По этому поводу она замечает, что сама по себе «задача описания специфических черт языков не вызывает возражений», и даже признает, что некоторые «специфические признаки языков действительно можно связать с культурными традициями, историей, стереотипами» [16]. Однако она указывает, что «методологически обнаружение абсолютно всех специфических характеристик того или иного языка представляется недостижимой целью», поскольку «для ее осуществления требовалось бы сравнить не только все языки, но и все диалекты мира друг с другом» [17]. Замечание справедливое, но ведь никто и не ставит перед собою недостижимой цели обнаружения «абсолютно всех специфических характеристик того или иного языка»; как правило, лингвисты удовлетворяются тем, что обнаружили хотя бы некоторые такие характеристики и продемонстрировали их лингвоспецифичность, а для достижения этой последней цели

¹⁰ Тем более что непонятно, как это установить; некоторое приближение к ответу на подобный вопрос может дать изучение того, в каких случаях какие участки мозга активны, но сведение эмоций к мозговой деятельности может рассматриваться и как неоправданный редукционизм. В любом случае такое изучение лежит за пределами лингвистики.

¹¹ В нем А. Павлова сообщает: «Здесь и далее в основном будут обсуждаться теоретические положения, изложенные в книгах [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005; Языковая картина мира 2006]» [17]. Однако читатель с удивлением обнаруживает, что ни «здесь», ни «далее» не обсуждается ни одно теоретическое положение, изложенное или хотя бы подразумеваемое в этих книгах. Не рассматриваются ни положения, на которые опирается наш подход, реализованный в изысканиях, вошедших в книгу [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005], ни теоретические положения Московской семантической школы, разработанные Ю.Д. Апресяном и изложенные, в частности, в книге [Языковая картина мира 2006].

часто достаточно сравнения с каким-то одним языком или даже внутриязыкового сравнения (с более ранним состоянием того же языка или сравнением разных его региональных вариантов). Но в связи с этими замечаниями А. Павловой любопытно отметить, что в предыдущем разделе в качестве источников «появления лингвокультурологии» в России она упомянула (вредное, с ее точки зрения) влияние работ А. Вежбицкой и даже не заметила, что это противоречит тезису, согласно которому «лингвокультурология исходит из того, что эпоха универсализма миновала». Дело в том, что А. Вежбицка является одним из самых бескомпромиссных сторонников универсализма в семантике, и вся ее лингвистическая деятельность последних десятилетий базируется на представлении, согласно которому значения всех без исключения выражений всех языков могут быть описаны при помощи ограниченного набора врожденных и уже потому универсальных концептов (семантических примитивов).

Далее А. Павлова переходит от задачи обнаружения всех лингвоспецифичных явлений к более узкой задаче обнаружения слов с лингвоспецифичной семантикой и задается вопросом: «Как же находить эти специфические элементы?» [17]. Вообще-то ответ на этот вопрос представляется очевидным: необходимо подвергать лексические единицы детальному семантическому анализу, включающему семантический эксперимент, сопровождая такой анализ межъязыковым или внутриязыковым сопоставлением с предполагаемыми аналогами анализируемого слова. Если окажется, что слово не имеет точного семантического соответствия в языках (или разновидностях языка), с которыми проводится сопоставление, то его следует признать лингвоспецифичным. Но почему-то эта процедура, вытекающая из здравого смысла, А. Павлову не устраивает (возможно, потому, что семантический анализ – вещь трудоемкая, он предполагает исследование большого числа контекстов, в которых может употребляться анализируемая единица). Она пишет: «Приходится искать другой выход из положения: лингвоспецифическими и непереводаемыми объявляются так называемые "ключевые слова" культуры» [17]. Несколько загадочным оказывается пассивный залог «объявляются»: кем объявляются, в тексте статьи не говорится, и ссылки нет. Остается допустить, что это предложение самой А. Павловой, и приходится признать, что предложение крайне неудачное. Не касаясь вопроса о «непереводимости» (само понятие без дополнительных пояснений является довольно неопределенным), замечу, что, во-первых, лингвоспецифичное слово вовсе не обязательно дает ключ к пониманию культуры¹², а во-вторых, избежать трудоемкого

¹² Так, артикли являются ярким примером лингвоспецифичных слов ряда западноевропейских языков, но остается неясным, какую культурно значимую информацию может из них извлечь А. Павлова.

семантического анализа таким образом все равно не удастся. Определить, есть ли основания относить лексическую единицу к «ключевым словам культуры», можно только на основе предварительного детального семантического анализа, который позволит установить, содержатся ли в семантике слова компоненты, в той или иной степени соотносимые с существенными особенностями соответствующей культуры.

Следующий раздел А. Павлова называет «Некоторые вопросы к лингвокультурологии», однако начинает его вовсе не с вопроса, а с чрезвычайно странного утверждения: «Итак, "концепты" — это то же, что "ключевые идеи" или "ключевые слова" культуры» [19]. Слов «итак», по-видимому, призвано создать иллюзию, будто это утверждение следует из чего-то ранее сказанного. Между тем утверждение представляется очевидной нелепостью. Как известно, слово является двусторонней единицей, имеющей как план содержания, так и план выражения, тогда как концепты и идеи относятся исключительно к плану содержания. Различия между концептами и «ключевыми идеями» культуры также вполне очевидны: как мы знаем, тот или иной концепт стоит за каждой языковой единицей, в частности – за каждым словом¹³, но едва ли кто-то решится без оговорок утверждать, что концепты ‘поверхность’ или ‘карбюратор’ скрывают за собою какие-либо «ключевые идеи культуры».

Сделав это странное утверждение, А. Павлова переходит к «вопросам к лингвокультурологии». Представляется, что для ответа на них не обязательно быть специалистом в области лингвокультурологии; достаточно простого здравого смысла. Поскольку А. Павлова занумеровала свои вопросы, удобно следовать за ее нумерацией.

1. А. Павлова пишет: «Вежливость — это концепт. А болезнь — концепт? А сон — концепт? А прогулка — концепт? А одежда?» Сказанное напоминает софизмы, которые на языке средневековой логики можно было бы назвать «неразличением суппозиций». Ясно, что можно говорить о концепте ‘вежливости’ и концепте ‘одежды’, но нельзя говорить, что некто в своем поведении проявляет концепт вежливости или закутался в концепт одежды (это столь же нелепо, как говорить, что концепт *вежливость* состоит из девяти звуков, а концепт *одежда* – из шести).

¹³ В последние два десятилетия в российской лингвистике неоднократно делались попытки придать слову «концепт» статус едва ли не термина; однако удачные попытки в этом направлении мне неизвестны, и представляется, что мы можем с полным основанием от них отвлечься. На базе терминологизации слова «концепт» даже возникали такие причудливые образования, как, напр., слово «концептосфера», введенное в обиход, насколько я знаю, Д.С. Лихачевым и в дальнейшем (вероятно, отчасти под влиянием его авторитета) используемое в рамках некоторых направлений отечественной когнитивной лингвистики; однако польза его для изучения семантики или соотношения языка и культуры остается сомнительной.

2. Я приведу вопрос А. Павловой полностью: «Предположим, мы с моим другом носители русского языка, причем лексиконы наши весьма схожи: мы в основном пользуемся одинаковыми лексемами и синтаксическими конструкциями. Если у нас при этом разные взгляды на вежливость, на дружбу или на свободу, то у нас с ним одна и та же языковая картина мира или разные? А культуры у нас с ним идентичны или различны?» [19]. Из синтаксического строения первой фразы можно было бы сделать вывод, что А. Павлова почему-то считает синтаксические конструкции частью лексикона, но можно надеяться, что это просто неуклюжее выражение. Впрочем, дальше выражения тоже довольно неуклюжи. Вопрос, одинакова ли языковая картина мира у двух носителей языка, не имеет смысла: языковая картина мира является принадлежностью языка, а не его носителя. Бывают люди, которые владеют несколькими языками и тем самым несколькими языковыми картинами мира; специалист в области какой-либо науки одновременно владеет «наивной» картиной мира повседневного языка, и «научной» картиной мира, отраженной в языке соответствующей науки. Можно формулировать этот вопрос по-другому: если идиолекты двух носителей языка совпадают, то можно ли говорить, что они пользуются одной и той же языковой картиной мира, несмотря на различие взглядов? Ответ, разумеется, утвердительный: «взгляды» здесь вообще не имеют отношения к делу, поскольку речь идет об используемых языковых средствах, а они, как утверждается, одинаковы. Вопрос, принадлежат ли два человека одной культуре (сформулированный столь же неуклюже), не имеет однозначного ответа. Культурная ориентация отдельного человека определяется не его «взглядами» или вкусами, а установкой на следование определенным культурным конвенциям; кроме того, культурная ориентация человека вовсе не обязана быть ориентирована только на одну какую-то культуру. Более того, несколько выше А. Павлова сама, как кажется, признавала, что при идентификации культур возможны разные уровни абстракции: можно говорить о финской или итальянской культуре, можно – о европейской культуре в целом, можно – о христианской культуре, можно – о городской культуре, можно – о средневековой культуре. Формулируя свой вопрос, она как будто об этом забыла.
3. Далее А. Павлова предлагает рассмотреть ситуацию, когда «два человека — носители русского языка — по-разному обозначают один и тот же цвет: то, что для одного салатное, для другого бирюзовое или то, что одному кажется бордовым, другой назовет вишневым». Она спрашивает: «Языковые картины мира этих людей совпадают или различаются?» [19]. Отвлечемся от неуклюжей формулировки, уже

ставшей привычной, и вспомним, что языковая картина мира характеризует не человека, а язык (в данном случае, очевидно, – идиолект). Итак, спрашивается, совпадают ли языковые картины мира рассматриваемых идиолектов. Понятно, что вопрос касается не языковой картины мира в ее целостности, а лишь восприятия цвета; столь же понятно, что ответ на него зависит от ряда неговоренных деталей. Рассматривают ли эти носители языка *салатное* и *бирюзовое* как разновидность *зеленого*? Связаны ли с указанными словами дополнительные ассоциации (напр., у прилагательного *салатный* – со словом *салат*)? Чтобы ответить на вопрос о «языковой картине мира», необходим подробный семантический анализ, без которого ответ будет столь же легкомысленным, как и постановка вопроса. Впрочем, стоит повторить, что люди, пользующиеся одним языком, по определению пользуются одной и той же языковой картиной мира. Говорить, что языковая картина мира идиолектов двух носителей языка различается можно только в том случае, если мы обнаружили существенные семантические различия языковых единиц этих идиолектов.

4. А. Павлова спрашивает: «Кем и как определяется "усредненность" "русского" человека?» [20]. Поскольку А. Павлова не прояснила, в каких целях ей понадобилось понятие «усредненности» человека, ответить на ее вопрос затруднительно; но, вообще говоря, понятие должен определять тот, кто намерен его использовать в своих рассуждениях (т. е. в данном случае – А. Павлова). Далее она сообщает: «...в мой концепт *вежливость* составляющая *искренность* не входит» [20]. Это сообщение может поставить в тупик, потому что искренность вообще не является составляющей вежливости у носителей русского языка, так что остается неясным, в чем же здесь проявляется индивидуальность А. Павловой. Лишь обратившись к предыдущему разделу, можно понять, что имеется в виду цитируемое там высказывание В.А. Масловой: «Вежливость в русской культуре нужно исследовать только вместе с искренностью, ибо русские излишнюю, с их точки зрения, вежливость связывают с проявлением неискренности». Иными словами, В.А. Маслова говорит, что в русской культуре излишняя вежливость ассоциируется с отсутствием искренности. Здесь, я думаю, с В.А. Масловой согласится большинство носителей русского языка: фраза *Он из вежливости улыбнулся* едва ли кем-либо будет понята как указание на искреннюю улыбку. Если А. Павлова этого не чувствует, то, скорее всего, это говорит о том, что она слишком долго жила в отрыве от родной речи. Впрочем, к замечанию В.А. Масловой следовало бы добавить, что в определенных случаях вежливость

требует как раз декларирования собственной искренности – напр., в таких формулах, как *я вам искренне сочувствую, я вам искренне благодарен*¹⁴.

5. «...В "языковую картину мира" входят самые частотные, типовые для социума суждения?» [20] – спрашивает А. Павлова. Отвечаю: частотность суждений и их типичность для социума не имеет прямого отношения к делу (тем более что непонятно, как ее считать). В языковую картину мира входят те представления о мире, которые содержатся в неявном виде (т.е. в качестве неассертивных компонентов) в значении языковых единиц (при условии что эти единицы употребительны).
6. А. Павлова пишет: «...представим себе, что для немцев понятие *kiebitzen* (тайком заглядывать в карты другого игрока или просто подглядывать за кем-либо) более актуальное явление, чем для русских (в русском языке здесь лакуна)», – и задается вопросом: «А являются ли лакуны в языке (вне сравнения с другими языками) показательными для культуры?» [21]. Каким образом лакуна (т.е. отсутствие чего-либо) может быть «показательной», она не поясняет; сама идея о показательности лакун¹⁵ напоминает анекдот о том, как, не обнаружив в раскопках шестого века проволоки, археологи сделали вывод, что уже в то время существовало радио (беспроволочный телеграф). Мы помним, что в самом начале своей статьи А. Павлова признала, что далеко не все значимые для культуры явления получают в соответствующем языке однословные обозначения, а теперь почему-то об этом забыла. Кроме того, необходимо учитывать, что иногда некоторое явление получает в языке специальное обозначение именно потому, что является редким и в силу этого обращающим на себя внимание. Так, в русском языке (и, по-видимому, во многих других языках) есть слово *горбун*, но нет существительного, обозначающего человека с прямою спиною. Если рассуждать, как А. Павлова, можно было бы предположить, что горбатые люди встречаются среди русских чаще, чем люди с прямою спиною; понятно, что дело обстоит противоположным образом.
7. Следующий вопрос А. Павловой: «Носителем какой национальной культуры является говорящий по-французски швейцарец: он представитель французской

¹⁴ В еще большей степени это характерно для английского речевого этикета – вспомним такие формулы, как концовка официального письма *Sincerely (yours)*. Разумеется, *sincerely* – это не в точности русское *искренне*, но вполне подходит в качестве аналога.

¹⁵ В некоторых случаях лакуны в тех участках словаря, в которых ожидалось бы наличие лексической единицы, могут свидетельствовать об особенностях культуры, обслуживаемой данным языком, напр. о наличии в ней табу на обозначение некоторого явления. Однако примитивное представление этой связи по схеме «нет слова – значит нет явления» является нелепостью.

культуры или швейцарской?» [21]. Понятно, что приведенных данных явно недостаточно для того, чтобы судить о культурной ориентации названного швейцарца. Различия между французской и швейцарской культурой вообще не так велики, и более релевантным может оказаться различие между жителем Лозанны и обитателем альпийской деревни.

8. Следующий вопрос А. Павлова предваряет таким высказыванием: «Если извлекать сведения о культуре из языка, то, обнаружив в русском языке обилие уменьшительных суффиксов, можно было бы утверждать, что русские привыкли более экспрессивно выражать свои эмоции, чем те народы, в языках которых не наблюдается такого обилия уменьшительных суффиксов» [21]. Если и согласиться, что это «можно было бы утверждать», то следует заметить, что такое утверждение чрезвычайно примитивно представляло бы связь языка и культуры. Вообще на основании частного языкового факта странно делать общий вывод о культуре общения, а такие ярлыки, как «степень экспрессивности выражения эмоций», не основаны на семантическом анализе и не могут служить базой для «лингвокультурологических» выводов. Далее А. Павлова сообщает, «что в баварском и австрийском диалектах немецкого языка значительно больше уменьшительных суффиксов, активно употребляемых в речи, чем в диалектах других регионов Германии» [21]. Она спрашивает, можно ли «утверждать, что баварская культура сходна с российской по степени экспрессивности выражения эмоций». Ясно, что вопрос основан на неверной предпосылке, включает не вполне ясное выражение «степень экспрессивности выражения эмоций» и потому не имеет ответа.

Задав свои вопросы, А. Павлова пишет: «...лингвокультурология не только не отвечает на эти вопросы — она и не собирается на них отвечать. Она и не может на них ответить...» [21]. Мы видели, что ответить на эти и подобные вопросы довольно просто, для этого не надо быть специалистом в лингвокультурологии. Но А. Павлова права в том, что лингвокультурология «не собирается на них отвечать». Иного было бы странно ожидать, поскольку эти вопросы для лингвокультурологических исследований никак не релевантны.

Гипотеза Сепира-Уорфа, лингвистическая семантика и лингвокультурология

Следующий раздел статьи А. Павловой озаглавлен «Неогумбольдтианство и лингвокультурология». Начинается он с обсуждения неогумбольдтианства в собственном смысле слова (упоминаются работы Л. Вайсгербера) и гипотезы Сепира-Уорфа, известной

также как «теория лингвистической относительности» (напомним, что Э. Сепир и позднее Б. Уорф разрабатывали свои теории, не опираясь на работы Вильгельма Гумбольдта)¹⁶.

Впрочем, неогумбольдтианство в собственном смысле слова только упоминается, но подробно не рассматривается в статье А. Павловой (а центральное в этой теории понятие «поля» даже не упоминается). Она сосредоточивается на гипотезе Сепира-Уорфа, что совершенно понятно, поскольку именно эта гипотеза сейчас заново обретает популярность в мировой лингвистике.

Рассказав об экспериментах, направленных на то, чтобы установить корреляцию между языковым строем и поведением носителей языка, А. Павлова высказывает мнение, что «доказать гипотезу лингвистической относительности так же невозможно, как и опровергнуть» [22]. Однако дальше она пускается в рассуждения, выражающие ее скепсис по поводу гипотезы Сепира-Уорфа, и приходится признать, что эти рассуждения базируются на столь же примитивных, сколь и абсурдных примерах; кажется, до такой степени примитивности не доходили даже самые отчаянные вульгаризаторы рассматриваемой гипотезы. Так, она сообщает, что немцы¹⁷ «иначе "выстраивают" двузначные числительные, чем другие европейские народы: сначала называют единицы, потом десятки», и отмечает: «...никто не сумел заметить особенностей поведения немцев при оперировании числительными по сравнению с носителями других языков» [23]. Можно напомнить, что при обозначении чисел от 21 до 99 немецкий язык вовсе не уникален среди европейских языков¹⁸. Но важнее здесь то, что А. Павлова совершенно не объясняет, почему порядок упоминания единиц и десятков при обозначении чисел от 21 до 99 должен как-то влиять на «поведение при оперировании числительными». Далее А. Павлова утверждает, что на основании наличия в немецком языке рамочных конструкций (с постановкой отделяемой приставки в конец предложения) можно было бы «предположить, что привыкшие к такой грамматике немцы по сравнению с другими европейцами обладают особо цепкой памятью или повышенным вниманием» [23]. Но такие свойства индивида, как цепкость памяти и повышенное внимание, не зависят от используемого языка и не имеют отношения к гипотезе Сепира-Уорфа.

¹⁶ По-видимому, А. Павлова считает несущественными различия между собственно неогумбольдтианством, основоположниками которого являются Й. Трир и Л. Вайсгербер, и гипотезой Сепира-Уорфа; она прямо отождествляет их и пишет: «гипотеза лингвистической относительности, или неогумбольдтианство, или гипотеза Сепира-Уорфа».

¹⁷ Под «немцами» она, очевидно, имеет в виду носителей немецкого языка, в том числе австрийцев и немецкоязычных швейцарцев.

¹⁸ Порядок «сначала единицы, потом десятки» используется в идиш, в нидерландском, датском языках. В чешском языке возможны оба порядка: «сначала десятки, потом единицы» и «сначала единицы, потом десятки». Странно, что А. Павлова не упомянула яркие и по-своему уникальные особенности французского языка при обозначении чисел от 70 до 79 и от 90 до 99 и не обсудила возможные особенности поведения его носителей «при оперировании числительными».

Если уж использовать примитивные, но хотя бы корректные примеры, можно упомянуть грамматический род существительных в тех языках, в которых он есть. Наблюдается следующая закономерность, отчасти подтверждающая гипотезу Сепира-Уорфа: при олицетворении пол, как правило, соответствует роду. В русском языке *заяц* мужского рода, а *белка* – женского, и мы можем представить себе маскарад, на котором мальчики наряжаются зайчиками, а девочки – белочками (если бы было наоборот, это воспринималось бы как своего рода травестия). Русскую сказку о царевне-лягушке может быть трудно перевести на немецкий язык, поскольку по-немецки *Frosch* – слово мужского рода (заметим, что лягушка олицетворяется как мужчина не только в немецком, но и в английском языке, в котором, как известно, существительные не имеют грамматического рода). Сходные трудности возникают при переводе сказки Корнея Чуковского «Муха-цокотуха», в которой *комар* освобождает муху от злодея старика *паука* и говорит ей: «...теперь душа-девица / На тебе хочу жениться».

Однако ни Э. Сепир, ни Б. Уорф вообще не использовали понятие языковой картины мира, поэтому обсуждение гипотезы Сепира-Уорфа увело нас далеко в сторону (заметим, что в работах Л. Вайсгербера понятие «языковой картины мира», напротив, активно используется, однако не в том значении, которое принято в современной семантике). И далее А. Павлова переходит к общефилософскому вопросу о возможности использовать недоказанные гипотезы в качестве основы научных построений, а затем без всякого перехода сообщает: «...уже пресуппозиция существования единой вневременной и внеисторической национальной культуры представляется сомнительной» [23]. Слово «пресуппозиция» здесь весьма неуместно, и никакой «сомнительности» я здесь не вижу: кажется очевидным, что никакой «единой вневременной и внеисторической национальной культуры» существовать не может. К сожалению не удается установить, сама А. Павлова придумала такую «пресуппозицию» или где-то ее обнаружила: ссылок она не дала.

Дальше она без всякого перехода сообщает, что ей кажется «несостоятельной» «идея жесткой и нерасторжимой связи между языком и культурой», и приводит следующую цитату, которую почему-то называет «плодом одного из лингвокультурологических исследований»: «Англичанин — практик, он всегда руководствуется разумом, а не чувствами. <...> Характер англичанина тесно переплетается с характером моря <...>. Истоки превосходства английской нации над другими, как представляется, следует искать не только в имперском величии царицы колоний (как это принято делать), <...> а в островном положении Великобритании» [24]. Какое отношение эта цитата имеет к наличию или отсутствию связи между языком и культурой, она не поясняет; между тем в

ней ничего не говорится ни о языке, ни о культуре. Почему она названа «плодом лингвокультурологического исследования» и в чем состояло само исследование, тоже остается неясным: в цитате речь идет о «характере англичанина», «островном положении Великобритании» и тому подобных вещах, которыми лингвокультурология не занимается. Добавим, что по поводу приведенной цитаты А. Павлова пишет: «Над подобными текстами смеются даже студенты-первокурсники» [24]. Независимо от качеств цитируемого текста, замечу: забавно, что суд «студентов-первокурсников» оказывается едва ли не главным критерием при оценке научного сочинения.

Дальше А. Павлова упоминает «список ключевых слов» из книги «Лингвокультурология» В.В. Воробьева и комментирует его: «Каких только необыкновенных качеств некоего усредненного русского человека мы не находим!» [24]. Выражение «ключевые слова» употреблено несколько загадочно, поскольку не сказано, для чего эти слова являются «ключевыми». Бывают слова, ключевые для понимания какого-то текста (причем понятно, что для разных текстов такие «ключевые слова» разные); бывают слова, ключевые для языковой картины мира или каких-то ее фрагментов (напр., русские пространственные предлоги для концептуализации пространства в русском языке), бывают слова, ключевые для культуры (напр., для русской культуры последних двух столетий «ключевым» можно считать слово *интеллигенция*). Кроме того, как бы ни понимать выражение «ключевые слова», совсем непонятно, какое отношение они имеют к качествам «усредненного русского человека». Казалось бы сама А. Павлова чуть выше задавалась вопросом, «кем и как определяется "усредненность" "русского" человека», а теперь, не сформулировав никакого определения, оперирует этим понятием как ни в чем не бывало.

После этого она переходит к нашей книге [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005], хотя ни здесь, ни далее так и не упоминает ни одного из теоретических положений, на которых основываются наши исследования. Она утверждает, что в нашей книге «можно обнаружить» «подробный список "ключей" русской культуры», и называет их: «...тут и щепетильность, и любовь к справедливости, и жалостливость, и надежда на «авось», и тоска с удалью и широкими / бескрайними просторами, и правда / истина, и свобода / воля, и душа» [24]. Однако она не объясняет, что она понимает под «ключами русской культуры», а на страницах, на которые она ссылается, никаких списков вообще нет. Правда, во введении к нашей книге содержится список ключевых идей русской культуры [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 11], и, вероятно, уместно привести этот список (сохраняя нумерацию), чтобы легко можно было убедиться, как он непохож на список,

приводимый А. Павловой (в оригинале при каждой из идей приводится ряд слов, в которых эта идея выражена):

1. Идея непредсказуемости мира.
2. Чтобы что-то сделать, необходимо мобилизовать свои внутренние ресурсы, а это трудно.
3. Чтобы человеку было хорошо внутри, ему необходимо большое пространство снаружи; однако если это пространство необжитое, то это создает внутренний дискомфорт.
4. Внимание к нюансам человеческих отношений.
5. Идея справедливости.
6. Оппозиция «высокого» и «низкого».
7. Хорошо, когда другие люди знают, что человек чувствует.
8. Плохо, когда человек действует из соображений практической выгоды.

Можно было бы предположить, что под «ключами» А. Павлова понимает не ключевые идеи, а ключевые слова. Однако список слов, проанализированных в нашей книге, приведен в ней в «Указателе лексем» (стр. 511-524) и включает более 200 единиц; понятно, что коротенький список А. Павловой не может дать о нем сколько-нибудь адекватного представления (тем более что, скажем, слова *щепетильность* в «Указателе» вообще нет, поскольку в книге оно не анализируется).

Далее в статье А. Павловой приводится ряд цитат из нашей книги; вне контекста цитаты часто непонятны, и тем более непонятно, почему А. Павлова усматривает в этих цитатах «идею национальной исключительности». Никаких комментариев к этим цитатам в статье А. Павловой нет, за исключением последней цитаты из статьи И.Б. Левонтиной «Милый, дорогой, любимый...», посвященной ласковым обращением в русском языке. В своей статье И.Б. Левонтина рассматривает типологические параллели к русским ласковым обращениям (таким, как *любимый, дорогой, зайка* и т. д.) и отмечает, что особняком стоит обращение *родной*¹⁹. В связи с этим она пишет: «Родственная теплота служит образцом доброго отношения к людям вообще. Здесь русский язык... подсказывает человеку готовность обнять родственной любовью весь мир». В своем комментарии в сноске А. Павлова отвечает: «Если "русский человек" склонен к "доброму отношению к людям" и готов "обнять родственной любовью весь мир", ...то почему в этом языке нет эквивалентов для элементарных слов, обозначающих доброе отношение к людям и даже

¹⁹ Она также упоминает обращения к незнакомым людям при помощи таких слов, как *отец, папаша, мать, мамаша, сынок, дочка, сестренка, браток, брат, братцы, тетка, дядя, дед, бабушка, бабуля, внучка* и т. д.

просто самих людей как объектов этого отношения: *hilfreich, hilfsbereit, Mitmensch?* Прилагательные приходится переводить словосочетаниями: кто-либо *всегда готов прийти на помощь, всегда выручит*. А слово *Mitmensch* и вовсе не переводится» [25]. Легко видеть, что реплика А. Павловой не имеет отношения к существу дела. Во-первых, странно приписывать, как это делает А. Павлова, «русскому человеку» особую склонность к «доброму отношению к людям» (понятно, что сделать такой вывод из приведенного высказывания И.Б. Левонтиной можно только при крайней недобросовестности или невнимательности); во-вторых, в приведенных немецких выражениях нет ни намека на родственные чувства²⁰.

В следующем абзаце А. Павлова делает еще более удивительные открытия, касающиеся нашей книги. Она пишет: «Около сорока раз в кавычках и без кавычек в книге встречаются мифологемы *национальный характер, национальная ментальность, русское видение мира, русское мироощущение* и даже *русская душа* — как синонимы словосочетания *русская языковая картина мира*» [25]. Здесь совсем трудно понять, зачем А. Павловой понадобилось прибегать к столь незатейливой выдумке: всякий может убедиться, что в нашей книге ни единого разу не употреблено ни одно из приведенных сочетаний в качестве синонимов термина *русская языковая картина мира*.²¹

Вывод, который А. Павлова делает в этом абзаце столь же странен: она почему-то называет ключевые идеи русской языковой картины мира, рассмотренные в нашей книге, «этностереотипами» и пишет, что эти «этностереотипы» в нашей книге «предстают... выразителями и репрезентантами общенациональной культуры, якобы единой, вневременной, внеисторической, вечной, неизменной и неизбежной» [25]. На самом деле в нашей книге мы не только неоднократно подчеркиваем неоднородность и историческую изменчивость русской культуры (никакая «общенациональная» культура в ней вообще не рассматривается), но и приводим множество данных, свидетельствующих об этой неоднородности и исторической изменчивости. Мы анализируем культурные и связанные с ними языковые изменения, происходившие на протяжении XIX-XX веков; но даже в отвлечении от представленного и проанализированного нами материала довольно одного

²⁰ Если же говорить просто о «добром отношении» безотносительно к родственным чувствам, то удивительно, что А. Павлова не упомянула чрезвычайно трудно поддающийся переводу немецкий глагол *gönnen* (примерное значение: 'охотно и без зависти видеть счастье и успех другого, исходя из того, что данный человек в этом нуждается или это заслужил'). Добавим, что в немецком языке есть и «противоположное» слово *Schadenfreude*, которое в большинстве контекстов без труда переводится на русский язык (как *злорадство*), но не имеет соответствия в английском языке (в котором при необходимости используется немецкое слово). Трудно даже представить себе, какие «лингвокультурологические» выводы могла бы из всего этого сделать А. Павлова.

²¹ Более того, иногда мы специально подчеркиваем, что ходячие представления о «национальном характере» скрывают за собою особенности того или иного фрагмента языковой картины мира.

здорового смысла, чтобы понять абсурдность представления о «вневременной, внеисторической, вечной и неизменной» русской культуре. В частности, трудно себе представить, чтобы коммунизм, захвативший нашу страну на 70 с лишним лет (сначала в ленинско-сталинском, а затем в чуть более мягком хрущевско-брежневском исполнении), никак не повлиял ни на культуру, ни на язык. О «вечности» русской культуры говорить еще более странно: всем понятно, что, скажем, в античные времена никакой русской культуры не существовало.

Кроме того, в связи с цитированным высказыванием возникает сомнение, понимает ли А. Павлова значение слова «этностереотипы». Под «этностереотипом» принято понимать «стандартное представление, имеющееся у большинства людей, составляющих тот или иной этнос, о людях, входящих в другой или в собственный этнос» [Крысин 2005: 450]. Существуют лингвистические методы обнаружения этностереотипов. Ряд из них описан в цитированной статье Л.П. Крысина; кроме того, весьма эффективный метод был изложен в известной статье [Плунгян, Рахилина 2002]: если сочетание прилагательного, обозначающего национальную принадлежность, и существительного, обозначающего некое человеческое качество, является лингвистически отмеченным (т. е. регулярно встречается в речевой практике носителей языка), то данное качество соответствует этностереотипу. При помощи этого теста удастся установить составляющие этностереотипа немца (*организованность, размеренность, серьезность, основательность, аккуратность, тщательность, дотошность, добротность, честность, бережливость, экономность, хозяйственность, деловитость, практичность, а также педантичность, рассудочность, расчетливость, ограниченность*) и француза (*тонкость, утонченность, грациозность, изящество, изысканность, любезность, галантность, а также жеманность, кокетливость, легковесность, ветреность*). Более бедны стереотипные представления об американцах (*деловитость*) и англичанах (*чопорность*). Особо интересен набор существительных, которые выявляет этот тест для автостереотипа русских (стереотипного представления о самих себе): *удаль, широта, прямота; сметка, смекалка; гостеприимство (хлебосольство), (за)душевность, щедрость; беспечность, бесхозяйственность, расхлябанность, лень, барство; хамство, свинство, дикость, варварство*. Авторы отмечают, что большинство этих качеств «эндемично», выражающие их слова «крайне трудно поддаются переводу на иностранные языки» [Плунгян, Рахилина 2002: 344-345].

Поскольку этностереотипы являются частью бытовой культуры носителей стереотипных представлений, возможность использовать для их исследования лингвистические методы

представляет собою еще одно свидетельство связи языка и культуры²². Особенно интересны с этой точки зрения слова, входящие в автостереотип русских. В отличие от многих европейских языков, интенсивное формирование русского литературного языка хронологически совпало с формированием национального самосознания: язык в этот период был пластичен и готов к закреплению новых смыслов, а обсуждение черт русского «национального характера» сопровождалось рефлексией по поводу слов, обозначающих эти черты [Левонтина 2012: 320-321]. В силу этого многие из таких слов обогатились нетривиальными дополнительными ассоциациями и представляют особый интерес для семантического анализа. Сказанное касается не только существительных, обнаруживаемых при помощи теста Плунгяна-Рахилиной, но и ряда других слов, часто выступающих в текстах как условный маркер «русскости» и потому охотно сочетающихся с эпитетом *русский* (*размах, авось, душа* и т. д.). Поэтому в нашей книге [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005] мы уделяем определенное внимание словам, соотносимым с автостереотипом русских, хотя эти слова составляют лишь незначительную часть всех проанализированных слов. Что касается до прочих этностереотипов, слова, соотнесенные с ними, вообще не рассматриваются, хотя некоторые из них лингвоспецифичны и представляют лингвистический интерес (напр., слово *деловитость*, соотнесенное сразу с двумя этностереотипами: немцев и американцев). Тем самым утверждение А. Павловой, будто слова, анализируемые в нашей книге, сосредоточены «вокруг этностереотипов», оказывается вводящим в заблуждение²³.

Дальнейшие рассуждения А. Павловой становятся еще более путаными. Она пишет: «В книгах "Ключевые идеи русской языковой картины мира" и "Языковая картина мира и системная лексикография" научное направление, нацеленное на изучение ЯКМ, не именуется лингвокультурологией» [25]. Насколько я помню, в книге «Языковая картина мира и системная лексикография» (в которой реализованы теоретические установки Московской семантической школы, т. е. представлен несколько иной подход, нежели в нашей книге) слово *лингвокультурология* действительно не употребляется. Что же касается до нашей книги, то в ней еще в предисловии говорится о лингвокультурологии, хотя, разумеется, не по отношению к «научному направлению, нацеленному на изучение ЯКМ» (языковая картина мира изучается в рамках лингвистической семантики, а лингвокультурология исследует функционирование языка в контексте той или иной

²² Разумеется, характеристиками, выявляемыми на основе обсуждаемого теста, этностереотипы не исчерпываются. Так, набор стереотипных характеристик на которых базируется поведение персонажей мультиэтнических анекдотов (распространенных в самых разных культурах) оказывается несколько иным.

²³ Следует добавить, что детальное описание методики выявления этностереотипов на основе языковых данных можно найти в книге [Березович 2007: 112-137]; там же в качестве иллюстрации приводится фрагмент сопоставительного анализа портрета «цыгана» в русском и английском языках.

культуры). Мы пишем: «...восстановление русской языковой картины мира вошло в широкий круг современных исследований в области лингвокультурологии и межкультурной коммуникации» [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 12-13]. Это соответствует нашим представлениям о соотношении указанных дисциплин: тщательный семантический анализ, направленный в том числе на реконструкцию языковой картины мира, является предпосылкой понимания соотношения языка и культуры и выявления целого ряда проблем, возникающих при межкультурной коммуникации, и наоборот – путь к решению многих уже выявленных проблем межкультурной коммуникации лежит через семантический анализ языковых единиц.

Завершается рассматриваемый абзац статьи А. Павловой следующим странным высказыванием: «"Лингвокультуремы", "концепты", "культурные концепты" — это те же "ключевые слова языковой картины мира" или "ключевые идеи культуры"» [25]. Что А. Павлова понимает под «лингвокультуремами», она не поясняет; между тем этот термин разными авторами употребляется в разных значениях, причем его необходимость представляется довольно сомнительной (мы его вообще не употребляем). Как бы то ни было, не может быть, чтобы «лингвокультурема» одновременно являлась концептом, словом и идеей, поскольку все это разноплановые сущности. Скажем, *самолюбие* – это русское слово, ‘мнение о себе самом’ – концепт, ‘необоснованно высокое мнение о себе самом’ – «культурный» (т. е. культурно значимый) концепт; наконец, ‘плохо иметь необоснованно высокое мнение о себе самом’ – одна из идей русской языковой картины мира (присутствующая и во многих других языковых картинах мира). Что из этого является «лингвокультуремой», из текста А. Павловой ни в коей мере не ясно.

Далее А. Павлова высказывает предположение, что исследования языковой картины мира²⁴ позволили, как она выражается, «наводнить российский лингвистический мир» [26] произведениями, посвященными «национальному менталитету» и его отражению в языке. Она приводит ряд цитат из авторефератов таких диссертаций, но, к сожалению, не показательных: из них остается неясным, в чем состоял лингвистический анализ, приведший к соответствующим выводам. Не удовлетворяясь отсылками к лингвистическим диссертациям, она ссылается и на диссертацию по педагогике [Чоудхури 2011], в которой описываются трудности, возникающие у финских студентов при изучении русской лексики, тематически связанной с понятием ‘зима’, и даются рекомендации по их преодолению. Ссылка дана в таком контексте, из которого следует,

²⁴ При этом, судя по всему, она не решила, лежит ли главная ответственность на наших исследованиях или на исследованиях, выполненных в рамках Московской семантической школы, и построение абзаца отражает ее колебания. В первом предложении она ссылается на нашу книгу и «другие работы тех же авторов», а во втором – уже на Московскую семантическую школу.

что А. Павловой эти трудности представляются несуществующими. Между тем, не оценивая рекомендации, данные в работе О.Л. Чоудхури, замечу, что такие трудности вовсе не являются мнимыми – достаточно упомянуть лексику, тематически связанную с зимними праздниками. Носители русского языка обычно с детства знают, кто такая *Снегурочка* (заглавный персонаж пьесы Александра Островского, который в современной мифологии сопровождает рождественского деда, сейчас чаще называемого *Дедом Морозом*), что такое *елка* как коллективное мероприятие, во многих семьях отмечают *старый Новый год* (т. е. Новый год по старому стилю). Финским студентам эти выражения без комментария могут быть непонятны²⁵. В равной степени для них может оказаться открытием, что на русский язык трудно перевести слово *olkipukki* (соломенный козлик, финское традиционное рождественское украшение на елку²⁶), поскольку в России такое украшение на елку обычно не вешается. Требуется фонических комментариев ряд выражений, связанных с событиями истории России (отчасти мифологизированными), происходившими зимой: *Ледовое побоище, замерз как француз под Москвой, Февральская революция*. В общем, остается загадкой, что может показаться сомнительным в наблюдении, что финские студенты «не владеют в достаточной мере семантическим объемом культуромаркированных лексических единиц, репрезентирующих концепт “зима”» [Чоудхури 2011: 20].

Завершает раздел характеристика исследований, посвященных культурной составляющей языковых выражений, как «углубляющих недоверие, настороженность, взаимонепонимание, взаимную изоляцию». Эта характеристика никак не вытекает из того, что было ранее сказано. Каким образом осознание носителями языка того факта, что их языковая концептуализация мира не является единственно возможной, а их культура – единственно «правильной», может углубить «недоверие, настороженность, взаимонепонимание, взаимную изоляцию» [28], А. Павлова не поясняет.

Вопросы перевода в статье А. Павловой

Следующий раздел статьи А. Павловой называется «Имеет ли смысл полемизировать с лингвокультурологией?» Начинается он, впрочем, с сообщения, что «лингвокультурология» представляет собою «эвфемистическое обозначение лингвонационализма» и что «лингвонационализм является основным направлением

²⁵ А, скажем, для австралийских студентов, привыкших к тому, что Рождество – летний праздник, необходимо усилие, чтобы воспринять зимний антураж Рождества.

²⁶ Напомним, что рождественский дед по-фински называется *Joulupukki* (т. е. буквально ‘рождественский козел’).

русской лексикологии и семантики» [28]²⁷. Поскольку слово «лингвонационализм» не является общеупотребительным и даже общеизвестным, сразу возникает вопрос, что под ним понимает А. Павлова. Оно могло бы обозначать хвастливые утверждения вроде следующих: «наш народ более всех прочих способен к овладению иностранными языками»; «наш язык самый лучший (самый древний, самый красивый, самый развитый)». Можно было бы отнести его к весьма распространенному явлению языковой политики, состоящему в борьбе за повышение статуса родного языка: стремлению сделать его языком обучения или государственным языком, а если он является таковым, лишить такого статуса «конкурирующие» языки. Однако все это трудно как-либо связать с лингвокультурологией, русской лексикологией или семантикой. Дальше А. Павлова называет работы, которые, как она пишет, освещают природу и сущность лингвонационализма «на обобщающе-историческом уровне», и мы понимаем, что «лингвонационализм» – это просто перевод немецкого выражения „Sprachnationalismus“, которое обычно используется по отношению к другому историческому периоду и никак не связано с ситуацией в современной России и тем более с течениями в современной русской лингвистике. После этого она называет публикации, в которых, по ее словам, сущность лингвонационализма вскрывается «на уровне лингвистического анализа», и этот список снова меняет перспективу. Достаточно сказать, что среди этих работ она упоминает статьи [Sériot 2005] и [Weiss 2006], в которых критически рассматриваются работы Анны Вежбицкой – замечательного австралийского лингвиста польского происхождения. Каким образом к работам А. Вежбицкой можно приклеить ярлык «лингвонационализма» (в каком бы то ни было понимании этого слова), остается совершенно непонятным; думаю, нет необходимости говорить, что в упомянутых публикациях П. Серио и Д. Вайса ни о каком «лингвонационализме» речь не идет.

Сама А. Павлова пытается встать на путь критики лингвокультурологии «изнутри», и для этого она предлагает «принять — чисто гипотетически — за истинные утверждения о том, что 1) существует единая национальная культура; 2) существует единый национальный язык; 3) национальная культура так тесно связана с национальным языком, что на основании языкового анализа можно судить о своеобразии национальной культуры; 4) важные черты национальной культуры зафиксированы и отражены в лингвоспецифических чертах национального языка; 5) описание лингвоспецифических черт национального языка является одновременно описанием важных черт национальной

²⁷ Эти высказывания плохо согласуются друг с другом, поскольку лингвокультурология – это самостоятельная научная дисциплина (или даже совокупность дисциплин), и потому она не может быть «направлением» лексикологии и семантики.

культуры» [28]. В этой цитате сразу обращает на себя внимание назойливое повторение прилагательного «национальный» – девять раз (!) при формулировке всего лишь пяти пунктов. Если попытаться оценить содержательную сторону этих постулатов, то легко видеть, что они являются совершенно посторонними по отношению к методологии подавляющего большинства серьезных исследований, направленных на изучение языка в качестве источника информации о культуре, которую этот язык обслуживает. В таких работах речь, как правило, идет о различных культурных общностях, которые могут выделяться на основе самых разных признаков (соответственно выбирается разновидность языка), напр. могут исследоваться особенности той или иной конфессиональной культуры (С.Е. Никитина) или традиционной народной культуры (Е.Л. Березович). Большинство работ А. Вежбицкой об английском языке и обслуживаемой им англосаксонской культуре не замыкается на отдельных национальных разновидностях английского языка; исследования в области славянской народной традиции (С.М. Толстая) опираются на материал множества славянских языков и не ограничиваются какой-либо одной национальной традицией. Работы, посвященные современному русскому литературному языку, в частности наша книга [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005]²⁸, ориентированы на культуру образованного городского населения России (и, в меньшей степени, сельской интеллигенции). Кроме того, выражения «национальный язык» и «национальная культура» едва ли применимы, скажем, к древнегреческому или латинскому языку и античной культуре или же к языкам и культурам аборигенов Океании. Тем самым они неоправданно сужают область рассмотрения. Впрочем, надобно признать, что в дальнейшем изложении А. Павлова практически не опирается на указанные постулаты; поэтому мы можем оценивать ее рассуждения независимо от этих постулатов, лишь на основе здравого смысла.

Далее А. Павлова сообщает, что она не принимает «положение о том, что ключевые слова культуры извлекаются из наших сведений о ней до всякого языкового анализа» [29]. Хотя остается неясным, где она обнаружила такое нелепое «положение», сформулированный принцип вполне разумен: в самом деле, как можно, не прибегая к лингвистическому анализу, узнать дает ли то или иное слово или совокупность слов ключ к каким-то важным особенностям культуры? Однако почти сразу же она, в противоречии с только что

²⁸ Мы почти не касаемся регионального варьирования литературного языка (напр., различия московских и петербургских норм), хотя отмечаем наличие стереотипных представлений о Москве и Петербурге, отражаемых в языке (напр., странность сочетания *петербургское хлебосольство*). В то же время мы уделяем определенное внимание изменениям в языке, связанным с культурными изменениями, т. е. диахроническому аспекту проблемы.

сделанным утверждением, начинает обсуждать критерии, по которым можно было бы выделить «ключевые слова культуры» до их семантического анализа²⁹.

К числу таких критериев А. Павлова относит неперево́димость, частотность, «разветвленность... семантического объема значения лексемы», длину синонимического ряда и «соотношение между объемом полисемии у слов, которые считаются переводными эквивалентами» [29-30] (при этом она отмечает, что список критериев можно было бы продолжить). Сразу бросается в глаза примитивность представлений А. Павловой о семантической структуре языковой единицы. Говоря о разветвленности, или глубине, семантического объема значения лексемы, она поясняет в скобках, что речь идет о «количестве сем». Ясно, что дело не в «количестве», а в наличии в семантической структуре слова имплицитных компонентов (пресуппозиций, коннотаций, фоновых компонентов значения). Именно эти компоненты представляют трудность при переводе: ассертивные компоненты при необходимости можно передать описательно, а попытка описательно передать набор ассоциаций, связанных с переводимой языковой единицей, приведет к тому, что они приобретут ассертивный статус (т. е. исходная семантика будет искажена). Иными словами, трудности перевода являются следствием «семантической глубины» и могут о ней свидетельствовать; однако сама по себе «неперево́димость» не должна считаться надежным критерием для отнесения языковой единицы к числу «ключевых слов культуры», поскольку «неперево́димость», как это признавала сама А. Павлова в начале своей статьи, может быть связана с самыми разными факторами. В качестве мелкого замечания можно указать, что вернее было бы говорить не о «длине синонимического ряда», а о количестве слов, выражающих некоторую идею. Собственно, А. Павлова из этого и исходит, когда пишет: «...чем популярнее какая-либо ключевая идея для носителей данного языка, тем больше существует синонимов для ее выражения — и наоборот: чем больше бытует в языке синонимов для выражения какой-либо идеи, тем более "культурно нагруженной" является данная идея» [29-30]. Следует только учитывать, что слова, выражающие одну и ту же идею, вовсе не обязаны быть синонимами: так, идея 'чтобы чувствовать себя свободно и хорошо, человеку нужно много места' выражена в словах *воля*, *простор*, *гулять*, *приволье*, *раздолье*, *притеснять*, *томиться* (и некоторых других). Дело в том, что синонимия возникает при совпадении

²⁹ Сама по себе идея выделения какого-то закрытого списка «ключевых слов культуры» также не кажется оправданной. Слово может быть «ключевым» для какого-то фрагмента культуры, но не для культуры в целом. Так, уже упоминавшиеся слова *первое* и *второе* можно считать «ключевыми» для понимания структуры обеда в русской бытовой культуре, но едва ли кто-то сочтет их «ключевыми» для русской культуры в целом.

ассертивных компонентов значения слова, а идеи, составляющие языковую картину мира, содержатся в имплицитных компонентах.

Впрочем, далее А. Павлова рассматривает только признак «непереводимости» и излагает свою классификацию «переводческих лакун». Собственно, возникает впечатление, что все рассуждения автора о необходимости поиска критериев выделения «ключевых слов культуры» были предназначены для того, чтобы послужить введением к этой классификации. Действительно, она представляет собою самую интересную часть рассматриваемой статьи; хотя ее нельзя назвать непротиворечивой, поскольку классы оказываются пересекающимися, а признаки, положенные в основу классификации слишком разнородны, она полезна как некоторая систематизация переводческих трудностей и дополнительное свидетельство того, сколь разнообразны причины, которые могут приводить к ощущению «непереводимости».

Все же полезно сделать ряд замечаний по поводу этой классификации.

Во-первых, представляется, что лучше было бы говорить не о «непереводимости» и «переводческих лакунах», а о трудностях при переводе. Если иметь в виду реальную переводческую практику, то любой текст оказывается «переводимым» с той степенью точности и адекватности, которая диктуется целями перевода. Кроме того, трудности при переводе возникают не только из-за «лакун» в языке перевода, но и в тех случаях, когда язык перевода дает несколько возможностей и переводчик становится перед проблемой выбора. Немецкое слово *Wahrheit* переводится на русский как *правда* и *истина*; английскому слову *sad* соответствуют два русских перевода: *грустный* и *печальный*. Выбор перевода в таких случаях трудно описать алгоритмически. Едва ли разумно говорить, что на месте английского слова *Kingdom* в русском языке имеется лакуна; однако выбор между переводами *царство* и *королевство* не всегда оказывается тривиальной задачей. Понятно, что сочетание *Kingdom of God* следует перевести как *Царство Божие*, а *United Kingdom* – как *Соединенное Королевство*, но если речь идет, напр., о сказочной стране, то выбор между *царством* и *королевством* может составить некоторую проблему. (Более того, некоторые такие случаи А. Павлова в дальнейшем упоминает, как-то обходя вопрос о «лакунарности».)

Во-вторых, значительная часть релевантного материала не попадает в поле зрения автора, поскольку А. Павлова, начиная изложение своей классификации, пишет: «Грамматику оставляем в стороне» [30]. Между тем мы уже видели, что, скажем, различия в грамматическом роде существительных, являющихся словарными эквивалентами друг друга, могут создавать трудности при переводе отрывка, в котором имеет место

олицетворение. Вообще игнорировать грамматику при обсуждении семантических проблем в высшей степени странно, поскольку грамматические особенности поведения лексической единицы часто непосредственно зависят от особенностей концептуализации действительности этой единицей (и тем самым могут свидетельствовать об этих особенностях). Скажем, по-русски названия ягод употребляются при обозначении совокупности этих ягод при их употреблении в пищу в единственном числе, а названия фруктов – во множественном: *варенье из земляники, малины, крыжовника*, но *из яблок, груш, абрикосов*. Вишни могут концептуализоваться двояко: как ягоды и как фрукты; соответственно говорят и *варенье из вишни*, и *варенье из вишен*. Слова *грусть* и *печаль*, которые конкурируют в качестве переводов английского слова *sadness*, различаются по смыслу, и это различие проявляется, в частности, в том, что *грусть* не употребляется во множественном числе, а *печаль* употребляется.

В-третьих, поскольку А. Павлова отказывается от детального семантического анализа, ряд примеров получает неверную квалификацию. Так, она пишет: «...словосочетание *j-d bekam rote Wangen* переводится по-разному в зависимости от причины покраснения щек: кто-либо *покраснел от стыда* или *раскраснелся на морозе*», – и утверждает: «Необходимость выбора разных глаголов продиктована не семантикой (она одинакова), а стилистической нормой» [35]. Но как раз стилистически глаголы *покраснеть* и *раскраснеться* не различаются: оба являются стилистически нейтральными. Можно было бы полагать, что А. Павлова просто таким образом неправильно обозначает сочетаемость, тем более что вначале абзаца она так и пишет: «Стилистическая норма ПЯ (сочетаемость)...». Но на самом деле причина покраснения щек вовсе не обязательно эксплицитно указывается в контексте, так что дело здесь не в сочетаемости, а именно в семантике: в значение русских глаголов *раскраснеться* и *покраснеть* «встроено» представление о вероятной причине покраснения. Рассуждение А. Павловой о немецких прилагательных *warm* и *heiß* свидетельствуют о ее незнакомстве с работами, в которых температурные прилагательные в разных языках описываются с точки зрения лексической типологии (одной из первых публикаций на эту тему была статья [Копчевская-Тамм, Рахилина 1999], в которой были описаны русские прилагательные *теплый* и *горячий* и шведские *warm* и *het*). А. Павлова пишет: «прилагательные *warm / heiß* распределяются при переводе по-разному в зависимости от сочетания и контекста: если в доме нет *warmes Wasser*, то по-русски скажут, что в доме нет *горячей воды* (а не *теплой*), а если мы умываемся под краном, то из крана течет *теплая вода* (а не *горячая*). Если же вода из-под крана для умывания слишком горячая, то и по-немецки она будет обозначена как *heiß*, а не *warm*. Так что распределение *горячий / теплый* ориентировано не на температуру воды и

ее восприятие в той или иной культуре и не на привычки того или иного народа, а исключительно на стилистическую норму» [35]. Комментарий А. Павловой невнятен, но при любом понимании лингвистически неграмотен: стилистически все четыре прилагательных (два немецких и два русских) не различаются, сочетаемость в рассмотренных примерах тоже одинакова (со словами *Wasser* и *вода* соответственно). Ясно, что дело здесь именно в семантике, которая разная для всех четырех слов. Интересно в связи с этим рассуждением А. Павловой вспомнить известную цитату из Апокалипсиса, которая в синодальном переводе читается: «ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих», - а в немецком переводе Мартина Лютера: „du weder kalt noch warm bist. Ach, daß du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde“. Мы видим, что *горячему* соответствует *warm*, а *теплому* – *lau*. Отдельную проблему составляет описание метафор (таких, как *горячо любимый*), большая часть которых семантически мотивирована.

Представляется, что А. Павлова не вполне уверена, обсуждает ли она трудности практического перевода или наличие/отсутствие однословного эквивалента в языке перевода. Из ее общих рассуждений как будто следует, что в центре внимания именно практический перевод; однако некоторые приводимые ею примеры «переводческих лакун» никакой реальной трудности для перевода не представляют. Так, она приводит примеры слов, «эквиваленты которых отсутствуют по необъяснимым причинам: *zelten* — *ходить в поход с палаткой, отдыхать с палаткой*³⁰; *paddeln* — *кататься на байдарках*; *radeln* — *кататься / ехать на велосипеде*; *rodeln* — *кататься на санках*; *telefonieren* — *разговаривать по телефону*; *ausladen* — *отменять приглашение*» [34-35]. Но ведь перевод этих глаголов обычно не составляет проблемы: можно использовать словосочетания, которые А. Павлова как раз и привела! (Правда, для глагола *telefonieren* во многих случаях лучше использовать не перевод *говорить по телефону*, а перевод *звонить по телефону* или просто *звонить*.)

Напрасно А. Павлова не проверяет достоверность своих высказываний. Так, она пишет: «Немецкое шутовское обращение *Mädels* в постсоветский период стало невозможно перевести как *девчата*, поскольку слово *девчата* ассоциативно столь тесно оказалось связано с советской пропагандой, что сейчас из русского языка практически исчезло» [34].

³⁰ Здесь вновь появляется загадочное выражение *отдыхать с палаткой* и становится ясно, что А. Павлова просто использует его как русское соответствие глаголу *zelten*. Поначалу это кажется странным: неужели *zelten* непременно предполагает, что субъект устал и нуждается в отдыхе. Но спустя несколько мгновений становится понятно, что А. Павлова просто использовала русский глагол *отдыхать* в просторечном значении (описанном, в частности, в статье [Зализняк 2009]).

Верно здесь только то, что слово *девчата* имеет определенную стилистическую окраску и многими воспринимается как советизм. Как раз это и препятствовало его употреблению в советское время (я, напр., не представляю себе, чтобы я мог его употребить вне цитации). Но люди, у которых нет стойкого отталкивания от советизмов, вполне могут использовать его, и мы находим в современных текстах (как художественных, так и публицистических) огромное количество примеров. Когда А. Павлова говорит, что такие выражения, как *калека, убогий, старая дева, синий чулок, засидеться в девках, девица на выданье* вытеснены из языка политкорректностью, имело бы смысл проверить и это утверждение, обратившись к данным современной речевой практики, и убедиться, что все эти выражения нередко употребляются в современных текстах. Опровергается речевой практикой и следующее утверждение А. Павловой относительно слова *прилежный*: «Это довольно редкое слово в русском дискурсе, по крайней мере в относительно современном его состоянии» [35]. Примеров употребления этого слова в современных текстах тоже очень много.

Создается впечатление, что А. Павлова больше полагается на искусство и интуицию переводчика, нежели на научный анализ. Вот она рассуждает о словах «с емкой семантикой»³¹, приводит в качестве примера русское слово *пошлый* и ряд немецких предложений, в которых встречаются немецкие аналоги этого слова. Ее вывод: «В этих отрывках слова *kitschig, ordinär, anzüglich, schlüpfrig, vulgär* иначе как *пошлый* не перевести» [40]. Предположим, что так (хотя в предложении *Dieses Gefühl schien mir niedrig und vulgär* последнее слово можно было бы перевести и словом *вульгарный*). Но дальше она сообщает: «То же касается и перевода с русского на немецкий: подобрать эквивалент в рамках текста переводчику несложно» [40]. Никаких алгоритмов, позволяющих выбрать подходящий перевод в каждом конкретном случае, она не дает. Лейтмотив ее рассуждений: «...переводчикам приходится призывать на помощь творческую изобретательность» [38]. То же самое она говорит и в заключение своего обзора «переводческих лакун»: «Обычно факторы, заставляющие переводчика проявлять изобретательность из-за отсутствия простых соответствий, накладываются друг на друга, так что переводческие решения приходится принимать в условиях множественных, сочетающихся друг с другом трудностей» [42]. Мысль о необходимости проявления творческой изобретательности, которая позволит найти переводческое решение в трудных

³¹ Она также называет их словами, «для которых характерна большая глубина семантического описания (набор сем)», сообщает, что эти слова «семантически многогранны и несколько аморфны» [39]. Мы снова видим, что А. Павлова представляет себе значение слова как «набор сем». Понятно, что при таком подходе нет шансов на основе языкового анализа понять что-то в культуре: в самом деле, как узнать, что именно из этого «набора сем» культурно значимо? Однако следует иметь в виду, что современная семантика давно отказалась от такого примитивного взгляда на языковое значение.

случаях, утешительна, хотя и не нуждается в особом подтверждении; однако ее научная ценность равна нулю. Польза научного исследования для перевода может состоять как раз в том, чтобы дать необходимые инструкции переводчику, не обладающему «изобретательностью»; пределом могут считаться алгоритмы, пригодные для машинного перевода³².

Общая нечеткость логических построений А. Павловой приводит к тому, что даже верные наблюдения она часто завершает декларативными и ни на чем не основанными пассажами. Так, она отмечает отсутствие в русском языке однословного эквивалента немецкого глагола *sich aussperren* 'остаться без ключа перед захлопнувшейся дверью', обсуждает возможные причины этого, но далее почему-то заявляет: «...рассуждения о том, что для немецкой культуры это понятие "важнее", представляются ничем не оправданными» [41]. Мысль сама по себе бесспорная; однако ссылок, из которых можно было бы понять, где она обнаружила указанные «рассуждения», А. Павлова не приводит. А в отсутствие таких ссылок сама ее декларация представляется ничем не оправданной.

Следующий раздел статьи А. Павловой озаглавлен «Выводы из сравнения непереводаемых лексем». В целом ее рассуждения строятся по следующей схеме: если лингвистический анализ сообщает нам о культуре то, что мы можем почерпнуть и из других источников, то он не нужен, а если у нас нет подтверждения из других, независимых источников, то выводы объявляются недостоверными. Схема в некотором смысле беспроблемная и напоминающая известное рассуждение халифа Омара об Александрийской библиотеке; однако даже ее реализация в статье А. Павловой сопряжена с отказом от семантического анализа, фактическими неточностями и логическими неувязками.

Она пишет: «...реалии, несомненно, часть культуры. Но это было известно заранее, поскольку тривиально. Знание, что самовар или сталинизм являются реалиями, предшествует языковому анализу» [42]. Понятно, что концепты 'самовар' и 'сталинизм' имеют различный культурный статус; отнести сталинизм к «реалиям» можно лишь при очень широком понимании понятия «реалия». Но более интересным является вопрос, дает ли семантический анализ слов *самовар* и *сталинизм* что-то для понимания соответствующих явлений и их роли для культуры. Ответ на этот вопрос, несомненно, положительный. Для таких объектов материальной культуры, как самовар, знание значения слова по существу и есть знание устройства этого объекта и его места в культуре. Большинство современных носителей языка впервые узнают слово *самовар* в

³² Речь идет даже не столько о реальном машинном переводе, сколько о том, что необходимо эксплицитно формулировать все обнаруженные закономерности, так что применение правил, построенных на основе этих закономерностей могло быть почти автоматическим.

детстве, еще не будучи знакомыми с самим объектом; источником сведений служат детские стихотворения Корнея Чуковского и особенно Даниила Хармса. Из этих стихотворений становится ясным назначение самовара – приготовление кипятка для заваривания чая и последующего чаепития; кроме того, из них понятны некоторые детали устройства самовара (напр., наличие крана, через который льется вода), а также его относительно большие размеры. Поскольку детские книги обычно снабжаются иллюстрациями, дети получают также некоторую информацию о внешнем виде самовара. По существу это и есть овладение значением слова, пусть и предварительное. В дальнейшем чаще всего происходит знакомство с самим объектом и его устройством, и тем самым носитель языка овладевает значением слова, хотя и не всегда способен эксплицировать его. Сходным образом лингвист, анализируя употребление слова *самовар* в реальных текстах (но уже сознательно и пользуясь релевантной методологией), может извлечь из них всю необходимую семантическую информацию и описать значение слова в эксплицитной форме. Именно из текстов извлекаются многие сведения о реалиях исчезнувших культур. Что касается до слова *сталинизм*, то даже поверхностный лингвистический анализ покажет ограниченность сферы его употребления. В целом слово *сталинизм* было более всего характерно для самиздатских авторов 1960-х, которые не хотели выражать неприятие коммунистического учения как такового. Оно не могло быть использовано в советской подцензурной печати (в ней мог использоваться эвфемизм «культ личности»). С другой стороны, оно почти не использовалось и в антикоммунистическом дискурсе. Характерно рассуждение Александра Солженицына, который писал в 1969: «Справедливо усумниться: а есть ли такой отдельный "сталинизм"? Существовал ли он когда? Сам Сталин никогда не утверждал ни своего отдельного учения (по низкому умственному уровню он и не мог бы построить такого), ни своей отдельной политической системы. <...> "Сталинизм" — это очень удобное понятие для тех наших "очищенных" марксистских кругов, которые стремятся отличаться от официальной линии, на самом деле отличаясь от неё ничтожно. <...> Но пристальное изучение нашей новейшей истории показывает, что *никакого сталинизма* (ни — учения, ни — направления жизни, ни — государственной системы) не было, как справедливо утверждают официальные круги нашей страны, да и руководители Китая. Сталин был хотя и бездарный, но очень последовательный и верный продолжатель *духа* ленинского учения». Впрочем, надо учесть, что слово *сталинизм* использовалось людьми, ни в коей мере не разделявшими коммунистической идеологии (особенно в эмиграции)³³, однако

³³ Использовали его и коммунистические авторы в эмиграции, напр. Л.Д. Троцкий, подчеркивавший этим, что Сталин «изменил ленинизму», напр.: «Куйбышев, Ярославский, Бубнов и многие другие нынешние

значение его было несколько размыто и различно у разных авторов. Сейчас некоторые обертоны в семантике этого слова, влиявшие на его употребление, начинают забываться, но лингвистический анализ позволяет их выявить и тем самым воссоздать культурный ореол этого слова в разные эпохи и в разных типах дискурса.

В этом разделе еще чаще, чем раньше, мы сталкиваемся с тем, что из верно отмеченных фактов А. Павлова делает никак не следующие из них выводы или даже противоположные тем, которые диктовались бы здравым смыслом. Кроме того, она по-прежнему упорно уклоняется от семантического анализа.

Так, она отмечает, что «в русском языке отсутствует эквивалент устойчивого выражения *faule Kompromisse*» и задает вопрос: «Можно ли на основании этой лакуны делать вывод, что для русских любые компромиссы хороши?» [43]. Казалось бы, наоборот: эту «лакуну» можно объяснить тем, что для советской идеологии любой компромисс был под подозрением (а *бескомпромиссность*, напротив того, ценилась), так что не было необходимости отделять от группы хороших, подлинных компромиссов скверные, «гнилые» компромиссы³⁴.

Напомнив, что «у немцев есть глагол *zelten*, а у русских нет его эквивалента», А. Павлова спрашивает: «Означает ли это, что русские не ходят в палаточные походы? Или что для русских этот вид отдыха менее значим?» [44]. Непонятно, что может подвигнуть к такому выводу. Поскольку в русском языке эквивалента нет, анализировать в нем вообще нечего; а в семантике немецкого слова как будто ничто не указывает на степень значимости этого «вида отдыха» для русских. Отметив, что в русском языке «нет глагола, который бы обозначал действие *разговаривать по телефону*», она задает вопрос: «...означает ли это, что они реже разговаривают по телефону, чем немцы, или что их телефонные разговоры короче, или что для них телефонные контакты менее важны?» [44]. И опять остается неясным, какого рода семантический анализ мог бы склонить к таким выводам. Подавляющее большинство попыток А. Павловой формулировать «выводы» о культуре также повисают в воздухе, поскольку не базируются на каком-либо лингвистическом анализе. Иными словами, речь идет не о попытке судить о культуре на основании языковых данных, а о попытках судить о культуре, вовсе не прибегая к анализу языковых данных, и следует признать, что в исполнении А. Павловой эти попытки оказываются бесплодными.

столпы сталинизма».

³⁴ Здесь, впрочем, следовало бы отметить, что сочетание *гнилой компромисс* иногда использовалось русскими (в том числе советскими) авторами (возможно как калька с немецкого выражения) и дважды приводится в качестве иллюстрации в [Толковом словаре русского языка 1935]. Добавлю, что история представлений о компромиссе в зеркале русского словоупотребления рассмотрена в статье [Шмелева 2012].

Возможно, А. Павлова полагает, что судить о культуре на основе языковых данных можно на основе постулата, согласно которому если в некотором языке есть слово, не имеющее эквивалента в другом языке, то соответствующее явление более характерно для культуры, обслуживаемой первым языком. Разумеется, это ложный постулат: наличие в языке слова, вообще говоря, свидетельствует о том, что соответствующее явление известно в данной культуре (понятно, что в русском языке XIX не было слова *компьютер*), но ничего не сообщает о его распространенности³⁵. Другое дело, если семантический анализ обнаружит неассертивный компонент, указывающий на распространенность явления и его освоенность культурой. Так, если мы дадим слову *страх* приблизительное толкование 'то, что обычно чувствует человек, который думает, что может произойти нечто плохое для него и он не может это предотвратить', то, как уже говорилось, мы можем заключить что понятие страха освоено русской культурой (поскольку толкование включает слово *обычно*). Напротив того, чувство, которое в немецком языке обозначается словом *Angst* (нечто среднее между страхом и тревогой [Wierzbicka 1998], приблизительное толкование может включать компонент 'то, что обычно чувствует человек, который думает, что может произойти много плохих вещей, и не знает какие именно...'), русской культурой не освоено³⁶.

Могло бы показаться, что я представляю воззрения А. Павловой на возможные способы судить о культуре на основе языковых данных излишне примитивными и даже фантастическими. Но вот типичный пример ее рассуждения: «В немецком языке есть существительное *Abkürzung*, обозначающее более короткий путь. В русском эквивалентного существительного нет. Можно сказать только *сократить дорогу* (глагольная группа). Какой культурологический вывод напрашивается из этого наблюдения? Стоит ли утверждать, что русским не свойственно сокращать путь или что для русской культуры длина пути не слишком важна, раз представление о его сокращении не закрепилось в языке в виде существительного?» [46]. Кажется, что никакой «культурологический вывод» здесь не «напрашивается»; впрочем, и «наблюдение» весьма примитивное и не сопровождается семантическим анализом приведенных выражений. В семантике русского выражения *сократить дорогу* нет никакого указания на «неважность» длины пути для культуры, а попытки говорить о «важности» или «неважности»

³⁵ Столь прямолинейное усмотрение связи языка и культуры напоминает истолкования, которые когда-то давались в рамках «лингвистического анализа художественного текста» (напр. интерпретацию безличных предложений в романах Федора Достоевского как выражение фатальности «некоей непостижимой силы» [Силина 1957: 146])

³⁶ Сказанное, разумеется, не означает, что русские не могут ощущать нечто вроде *Angst*; но, для того чтобы поведать об этом, по-русски приходится прибегать к сложным описаниям, тогда как смысл 'страх' передается одним общепонятным словом.

некоторого явления для культуры лишь на основе частеречной принадлежности связанных с ним выражений могут базироваться только на беспочвенных фантазиях.

Но даже рассуждения по данной схеме А. Павлова иногда проводит с нарушениями правил логики. Так, она пишет: «Известно также, что в современной России распространена практика переноса праздничных дней: например, если праздник выпадает на четверг, то пятницу тоже делают праздничным (нерабочим) днем за счет, например, субботы следующей недели. При этом пятница между официальным праздничным днем и выходными никак не именуется. В немецком же для такого дня есть специальное название — *Brückentag* ("день-мостик"). При этом перенос выходных на *Brückentag* не принят. Можно с достаточным основанием утверждать, что для россиян понятие "день между праздником и выходными" значительно актуальнее (важнее), однако на лексиконе это не отразилось» [45]. Но именно в силу практики переноса выходных дней, восходящей к советскому времени, для России понятие такого «мостика» вовсе не актуально, в отличие от ряда западноевропейских стран. Во французском языке есть характерное выражение *faire le pont* 'не пойти на работу в день между двумя выходными' (буквально – 'сделать мостик'), а в русском языке нет его аналога, поскольку день между двумя выходными обычно и так бывает выходным.

Иногда рассуждения А. Павловой оказываются попросту анекдотичными. Так, она сообщает, что «русские говорят: *У кошки век короткий — всего пятнадцать лет*, или: *На мой век чего-либо хватит*», и спрашивает: «Означает ли это, что русские исчисляют век иначе, чем немцы, которые про продолжительность жизни человека или животного никогда не скажут ничего, что бы напоминало *Jahrhundert?*» [43]. Трудно поверить, чтобы профессиональный лингвист не понимал, что слово *век* многозначно, причем значение 'столетие', которое в некоторых словарях дается первым, по-видимому не является основным даже для современного русского языка. Интересно, что А. Павлова сказала бы про выражения *каменный век*, *атомный век*, *на моем веку* или как бы она перевела выражение *во веки веков*³⁷.

Когда А. Павлова переходит к обозначениям цвета, ее рассуждения становятся совсем сумбурными. Она упоминает тот факт, что в немецком языке «цвет лисьей шкуры или цвет волос человека обозначается словом *rot*» и что, кроме того, в нем «активно используется прилагательное *orange* — оранжевый». В связи с этим она задает странный вопрос: «Кто может с точностью отделить рыжий от оранжевого?» [46]. Понятно, что

³⁷ Замечу, что в тексте Символа веры выражению *прежде всех век* соответствует немецкое сочетание *vor allen Aeonen*, а выражению *жизни будущего века* – *des Lebens des kommenden Aeons*.

лингвиста здесь могут интересовать не объективное различие цветов, а лишь правила употребления соответствующих прилагательных, и, сформулировав такие правила, мы можем «с точностью» сказать, что различили эти цвета. Известно также, что некоторой особенностью русского языка по сравнению с рядом западноевропейских языков является отсутствие прилагательного, соответствующего английскому прилагательному *blue*, французскому *bleu*, немецкому *blau* (при желании можно назвать это «лакуной»). Иногда вследствие этого могут возникать трудности перевода (упомянем название знаменитой пьесы Мориса Метерлинка *L'oiseau bleu*). В связи с этим общеизвестным фактом А. Павлова сообщает, что «голубой и синий цвета радуги именуется *hellblau* и *indigo*» и что «синий и голубой в немецком имеют такое количество специальных оттенков (*tiefblau*, *kobaltblau*, *veilchenblau*, *türkisblau*, *himmelblau*, *fahlblau*, *blässblau*), что в освоении этих цветов...носителями немецкого языка сомневаться не приходится» [46] (факты тоже общеизвестные). В «освоении этих цветов» носителями немецкого языка как будто никто и не сомневался; однако остается неясным, как эта информация отменяет тот факт, что в немецком языке есть слово *blau*, и как она помогает в переводе этого слова на русский язык.

Удивительно, что даже факты, очевидным образом свидетельствующие о наличии связи языка и культуры, А. Павлова пытается интерпретировать так, чтобы ни в коем случае не допустить возможность опоры на языковые данные при анализе этой связи. Вспомнив, что «немецкий глагол *wandern* культурно нагружен: он ассоциируется с эпохой немецкого романтизма и может рассматриваться как "ключевое слово" этого художественного направления в истории немецкой культуры», она справедливо указывает: «Эта же эпоха отмечена борьбой писателей-романтиков против *Philister*, *Spießbürger*. Филистерам противостоит *Genie*, а *Weltflucht* — способ от них спастись». Однако дальше она рассуждает следующим образом: «...такие "ключевые слова" — всегда конкретной и ограниченной во времени и пространстве группы — можно обнаружить, только если знать культуру этой группы, ее историю и ее идеи. Языковой анализ таких знаний не предоставляет. Наоборот, мы отыскиваем в языке те или иные слова и выражения, потому что мы их знаем заранее благодаря знанию эпохи» [48]. Любопытно, каков, по мнению А. Павловой, источник наших знаний о культуре рассматриваемой эпохи. Конечно, кто-то может получать такие знания из учебных пособий, но откуда они у авторов пособий? На самом деле, по большей части основной источник сведений — тексты, написанные в изучаемую эпоху представителями рассматриваемой культурной общности. Знание культуры, от которой сохранились какие-то тексты,— это в значительной мере знание языка, на котором написаны эти тексты. Возможно интуитивное овладение этим языком,

без посредства детального лингвистического анализа,— подобно тому, как мы овладеваем родным языком (а многие и иностранными языками). Но лингвистический анализ, базирующийся на строгой методологии, дает возможность получить значительно более надежные сведения о культуре ушедших эпох.

Беззаботности А. Павловой по части логики соответствует ее беззаботность по части фактов. Так, она пишет: «В последнее время стало уже общим местом утверждение, что кладезем народной культуры является фразеология» [49]. Между тем именно в последнее время против идеи об особой культурной значимости фразеологии все чаще высказываются серьезные возражения. Сошлюсь на книгу авторитетных специалистов по фразеологии, в которой есть специальная глава, посвященная вопросу о национально-культурном аспекте фразеологии³⁸ [Баранов, Добровольский 2008: 251-287]. Авторы начинают с критического рассмотрения утверждения А.М. Бабкина, сделанного в 1979, согласно которому идиоматика – это «святая святых национального языка», «в которой неповторимым образом манифестируются дух и своеобразие нации». Они пишут: «Априорное закрепление за фразеологией того или иного языка национально-специфических черт оказывается при внимательном рассмотрении отнюдь не бесспорным. Против него могут быть выдвинуты возражения как интуитивного, так и теоретического характера». Они приводят ряд примеров фразеологизмов (*лезть на стену, качать права, не моргнуть глазом*), по поводу которых пишут: «...не вполне ясно почему мы должны усматривать национальную или культурную специфичность в таких идиомах». Вообще говоря, во фразеологизме *качать права* можно было бы усмотреть характерный для русской культуры скепсис по отношению к юридическим методам решения проблем (фразеологизм содержит легкую иронию по адресу того, кто *качает права*), но в целом позиция авторов представляется вполне обоснованной. Далее они отмечают, что «наличие противоположных ценностных установок реально представлено в идиоматике очень многих языков» и поэтому неправомерно «выделять одну из этих установок в качестве главной для данного народа и приписывать ей статус культурно-специфической». Очевидно, что приведенные цитаты свидетельствуют: представление о фразеологии как о «кладезе народной культуры» отнюдь не стало общим местом в последнее время – скорее наоборот.

Однако А. Павлова продолжает ломиться в открытую дверь и переходит к пословицам. Она сообщает, что «назидательные пословицы типа *Сам погибай, а товарища выручай; Без труда не вытащишь и рыбку из пруда* или *Слово не воробей, вылетит — не поймаешь*

³⁸ В ней используются материалы ряда статей Д.О. Добровольского, опубликованных в 1990-е гг.

известны из школьной программы, но в живой диалогической речи практически не употребляются» [50]. Не очень понятно, почему так уж важна степень употребительности приведенных пословиц: кажется, что они лингвистически не очень интересны; в частности, посредством лингвистического анализа их них едва ли можно извлечь культурно значимые сведения.

Здесь А. Павлова почему-то переходит к частотности, приводит пять самых частотных существительных и пять самых частотных глаголов по данным электронной версии известного словаря О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова (<http://dict.ruslang.ru/freq.php>) и задает вопрос: «Какие культурологические выводы допустимо делать на основании этих списков?» [50]. Кажется очевидным, что никаких разумных выводов «на основании этих списков» сделать нельзя; но остается непонятным, на какие выводы могла рассчитывать А. Павлова и почему она выбрала именно существительные и глаголы: очевидно, что самые частотные русские слова – это предлоги, союзы, частицы (*и, в, не*).

Впрочем, показательно высказывание, посредством которого А. Павлова заводит речь о частотности: «Интересующихся частотностью отошло к "Новому частотному словарю русской лексики"...» [50]. Словарь О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова является ценным лингвистическим ресурсом; однако «интересующихся частотностью» (в том числе самое А. Павлову) лучше бы отослать к надежным пособиям, в которых говорится о применении количественных методов в гуманитарных науках.

Далее А. Павлова заявляет: «Ничего вневременного, "чисто" национального, вечного, неизбывного, глубинного, исконного и неизменного при непредвзятом анализе в языке не обнаружить» [51]. Приятно, что здесь можно полностью согласиться с ней; но непонятно, в чем необходимость столь торжественно декларировать эту вполне самоочевидную мысль и какое это имеет отношение к проблеме соотношения языка и культуры. Ведь в культуре, как всем известно, тоже «ничего вневременного, чисто национального, вечного, неизбывного, глубинного, исконного и неизменного» при непредвзятом анализе не обнаружить.

После этого А. Павлова переходит к разбору некоторых языковых выражений из нашей книги [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005] и возможности их перевода на немецкий язык. Обещанного разбора содержащихся в книге или подразумеваемых в ней теоретических положений мы так и не дождалась, но разбор примеров в чем-то еще интереснее и показательнее.

Предваряется этот разбор цитатой из нашей книги с комментарием А. Павловой в квадратных скобках: «Заметим, что их [ключевых идей культуры, например, *собираться*,

добираться, постараться, сложилось, довелось, обида и др. — А.П.] переводные аналоги не являются подлинными эквивалентами именно ввиду отсутствия в их значениях этих специфичных для данного языка идей» [51]. Цитата приведена без искажений, но комментарий представляется совершенно абсурдным: во-первых, мы никогда не высказывали нелепую мысль, что слова *собираться, добираться, постараться, сложилось, довелось, обида* и др. являются «ключевыми идеями культуры», а во-вторых, нелепостью является само обсуждение вопроса о «переводных аналогах» «ключевых идей культуры». В приведенной цитате, как легко убедиться, обратившись к нашей книге, речь идет не о «переводе идей», а о лингвоспецифичных русских словах, содержащих в своем значении ключевые идеи языковой картины мира (но, конечно, не сводимых к ним), и их переводных аналогах (о культуре в ней речь вообще не идет).

Как можно судить на основе разбора, проведенного А. Павловой, она стремится опровергнуть нашу мысль об отсутствии точных переводных эквивалентов анализируемых нами слов. Впрочем, в большинстве случаев она избирает методику, которая заведомо не позволяет достичь желаемого результата, поскольку в качестве «опровержения» она приводит переводы предложений, содержащих рассматриваемые слова. Вообще говоря, возможность более или менее адекватно перевести отдельно взятое предложение с некоторым словом ни в коей мере не доказывает наличие у слова точного семантического эквивалента (более того, сама А. Павлова здесь же признает, что в контексте перевод «поддерживается семантикой окружающих слов и конструкций»). В самом деле, русские предложения с частицей *же* обычно не составляют большой проблемы для перевода, но странно было бы на этом основании делать вывод о наличии у частицы *же* точного эквивалента в немецком или каком-либо другом языке. Кроме того, у многих слов есть аналоги, позволяющие осуществить перевод в тексте (в некоторых случаях с небольшим семантическим сдвигом). В таких случаях обнаружение семантических отличий исходного слова и его аналога требует тщательного семантического анализа, которого А. Павлова последовательно избегает. Так, в статье [Зализняк, Шмелев 1997] (вошедшей в книгу [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005]) мы среди прочего разбираем отличия русского слова *утро* и немецкого *Morgen*. Тот вполне очевидный факт, что *Morgen* в подавляющем большинстве предложений может служить вполне адекватным переводом слова *утро* (а *утро* успешно переводит *Morgen*) не противоречит отсутствию точной эквивалентности между ними.

Следует заметить, что А. Павлова не рассматривает ни примеры, когда аналог очевиден (как для слова *утро* – *Morgen*), ни примеры русских слов, для которых аналога заведомо

нет (как для частицы *же*). Она сосредоточивается на словах, для которых перевод не вполне очевиден и которые поэтому, как нам кажется, могут вызвать затруднения у переводчика. Тезис А. Павловой, если я правильно его понимаю, заключается в том, что такие затруднения являются мнимыми, перевод найти совсем несложно, поскольку имеет место точная семантическая эквивалентность русского выражения и его немецкого аналога.

Разбор, проведенный А. Павловой, содержит такое количество фактических, логических и лингвистических ошибок, что я вынужден постоянно прибегать к цитированию: иначе будет трудно поверить, что она действительно написала то, что написала.

А. Павлова начинает свой разбор со следующего утверждения: «Пресловутый "русский авось" переводится самыми разными способами: *auf gut Glück, wenn was ist, für den Fall der Fälle, aufs Geratewohl, ins Blaue hinein, planlos, ohne Plan, auf Gutdünken*» [51]. Здесь не вполне понятно, о чем говорит А. Павлова. Дело в том, что слово *авось* в современной русской речи различает два режима употребления: с одной стороны, оно нередко выступает как условный символ «русскости»³⁹; с другой – оно по-прежнему может функционировать в прямом режиме как дискурсивное слово. Когда А. Павлова использует сочетание *пресловутый «русский авось»*, кажется, что она имеет в виду символическое употребление слова, однако предлагаемые ею переводы больше подходят для дискурсивного употребления. Впрочем, приведенные ею восемь немецких выражений явно не синонимичны между собою, поэтому ясно, что речь не идет о точной семантической эквивалентности: одно слово не может в точности совпадать по смыслу с восемью семантически различными словами. Для практического перевода указание А. Павловой бесполезно: никаких правил, которые позволили бы начинающему переводчику осуществить выбор между восемью выражениями, она не сформулировала (так что опять пришлось бы полагаться на «творческую изобретательность» переводчика). Кстати, любопытно проверить, как переводится слово *авось* в реальной переводческой практике. Это слово довольно часто (восемь раз) используется в повести Александра Пушкина «Капитанская дочка», перевод которой на немецкий язык доступен в рамках НКРЯ. Легко убедиться, что ни один из предложенных А. Павловой мнимых эквивалентов не использован в переводе ни разу, а выбранный переводчиком вариант каждый раз сопровождается очевидным семантическим сдвигом. Так, напр., слова Пугачева *Авось*

³⁹ Часто в этом случае оно сочетается со словом *русский* или *российский*, как в примере из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», приведенном мною в книге [Шмелев 2002: 136]: *...слово «русский» вновь обрело живое содержание. Сперва, в пору отступления, это слово связывалось большей частью с отрицательными определениями: российской отсталости, неразберихи, русского бездорожья, русского «авось»...*

увидимся когда-нибудь переведены: *Mag sein, daß wir uns noch einmal wiedersehen*. Выражение *mag sein* является семантически элементарным и соответствует русскому *может быть*; ясно, что оно не способно в точности передать сложную семантику слова *авось*.

Далее А. Павлова пишет, что у нее «вызывают удивление» утверждения, что некоторые приводимые ею «идеи» являются «уникальными, присущими исключительно русским». При этом она ссылается на страницы нашей книги, так что у читателя можно создаться впечатление, что утверждения об «уникальности» там и содержатся. Однако если он обратится к соответствующим страницам нашей книги, то увидит, что ничего подобного там не утверждается: это очередная выдумка А. Павловой⁴⁰.

Среди этих «идей» А. Павлова упоминает «склонность к лени», ссылаясь при этом на статью И.Б. Левонтиной «*Ното ригер*». Здесь речь идет уже не только о фактической неточности, но и о полной невнятности. Выражение «склонность к лени» является обозначением некоторого свойства; какую же «идею» видит за этим свойством А. Павлова? То что некоторым людям присуща склонность к лени? Или что всем людям присуща склонность к лени? Или что лень – это хорошо? Думаю, понятно, что статья И.Б. Левонтиной посвящена совсем другим проблемам, и даже название статьи («человек ленивый» на латыни) показывает, что ни о какой русской «уникальности» идей, связанных с человеческой ленью, в ней речи не идет. В статье рассматриваются разные виды лени: лень как состояние тела (физическая расслабленность, истома или оцепенение), лень как душевное состояние (паралич воли, когда человек не может приступить к действию), лень как состояние ума (рациональную установку, нежелание совершать бессмысленные действия и тратить силы впустую). Анализируются русские языковые средства, соотносимые с разными видами лени: *лень* (существительное и предикативное наречие), *ленца*, *лоботряс*, *ленивый*, *лениво*, *ленивец*, *лениться*, *лентяй*, *лодырь*, *неохота*. Описываются различия между сходными на первый взгляд ответами *Лень*, *Неохота* и *Да ну* в ответ на предложение нечто сделать. В связи с аксиологией лени отмечаются различия между такими словами, как *лодырь* и *лоботряс*, выражающими отчетливо отрицательную оценку лени, и словом *ленивец*, которое может выражать симпатию к поэтической натуре, отвергнувшей соблазны карьеры ради мирных утех любви и дружбы. При этом указывается, что комплекс идей, связанных с таким употреблением слова *ленивец*, привит русской культуре золотого века Константином Батюшковым и

⁴⁰ Вообще утверждение, что какая-то идея является «уникальной», «присущей исключительно русским» представляется неуместным в лингвистическом сочинении; не слишком оно уместно и в статье, рассматривающей возможность понимания культуры на основе языковых данных, поскольку не имеет отношения ни к языку, ни к культуре.

Александром Пушкиным и был заимствован из французской анакреонтики XVIII века, в которой даже использовалось выражение *la sainte paresse* (И.Б. Левонтина упоминает в связи с этим также итальянское выражение *dolce far niente*). И лишь на последней странице статьи в сноске упоминается (со ссылкой на статью [Плунгян, Рахилина 1996]) выражение *русская лень* и в связи с этим кратко обсуждается «обломовский комплекс».

В дальнейшем А. Павлова еще вернется к данной статье И.Б. Левонтиной, но здесь она переходит к *попрекам* и сообщает: «*Попрекать* по-немецки — *Vorhaltungen machen, j-m etwas vorhalten*» [51]. Для подтверждения этого она приводит один-единственный пример из немецкого перевода «Преступления и наказания» Федора Достоевского, добавляя, что этот перевод «предельно точен» (слово *попрекать* переведено в нем как *vorhalten*). Но единственный пример, независимо от того, насколько точен перевод, не доказывает смысловой эквивалентности. Я могу привести пример использования выражения *Vorhaltungen machen* для перевода слова *пенять* – из уже цитированного мною немецкого перевода «Капитанской дочки»: фраза *Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла* (имеется в виду – за то, что Гринев приучился сидеть один у себя дома) переведена как *machte mir Wassilissa Jegorowna anfangs deswegen Vorhaltungen*. Нелепо было бы на этом основании утверждать семантическое тождество *Vorhaltungen machen* и глагола *пенять*, тем более что глаголы *попрекать* и *пенять* очевидным образом не синонимичны. Мне кажется, что оборот *Vorhaltungen machen* гораздо ближе русскому выражению *поставить на вид*; но, разумеется, без тщательного семантического анализа того и другого оборота я не могу утверждать это с уверенностью. Важно, что, по общему мнению, *попрекать* всегда дурно (так что фраза *Ты меня попрекаешь* – сильнейшее обвинение в ответ на высказывание, которое могло быть воспринято как *попрек*), тогда как упреки и обличения, описываемые оборотом *Vorhaltungen machen*, могут представляться оправданными. Сошлюсь на изложение евангельского эпизода, когда Иоанн обличал Ирода Антипу за то, что тот взял жену брата своего (Лк 3, 19), на странице, посвященной празднику Богоявления (http://orthpedia.de/index.php/Taufe_des_Herrn): *Herodes hatte seinem Bruder die Frau weggenommen, und Johannes machte ihm deshalb Vorhaltungen*. Впрочем, спор по этому поводу постепенно становится беспредметным, поскольку рассуждения А. Павловой к концу абзаца снова предельно невняты. Она пишет буквально следующее: «"Идея" попреков отличается от "идеи" упреков (*Vorwürfe, vorwerfen*), являясь в то же время синонимом последней» [52]. Трудно даже понять, что здесь имеет в виду А. Павлова: «синонимами» могут быть языковые выражения (напр., слова), а «идеи» могут быть тождественными или различными, но никак не «синонимичными».

Далее А. Павлова переходит к обсуждению статьи Анны А. Зализняк и И.Б. Левонтиной о русских словах *разлука* и *соскучиться*. Она сообщает: «Слово *Trennung* имеет как значение *расставание*, так и значение *разлука* (причем эквивалентность в обоих случаях абсолютно точная)» [52]. Можно только догадываться, в чем состоит здесь мысль А. Павловой, поскольку в любом случае выражена она лингвистически неграмотно. В каком-то смысле слово *разлука* тоже имеет значение ‘расставание’ (напр., в пушкинских строках *Томленье страшное разлуки / Мой стон молил не прерывать*). Однако в обоих приведенных А. Павловой примерах употребления слова *Trennung*, как она сама справедливо замечает, его нельзя перевести посредством слова *расставание*, так что осталось неясным, к чему было заводить речь об этом слове. Что же касается до ситуации, когда речь идет не о моменте или процессе расставания, а о уже имеющем место пространственном разделении, то при обозначении такой ситуации между словами *Trennung* и *разлука* имеется важное различие. Оно заключается в том, что в смысл слова *Trennung* не встроено указание на любовь и страдания, вызванные пространственным разделением с объектом любви (соответствующие значения могут индуцироваться контекстом, но не являются ингерентной принадлежностью слова), тогда как для слова *разлука* это неотъемлемая часть семантики. Именно поэтому слово *Trennung* может обозначать особый вид семейного положения, когда бывшие супруги формально не развелись, но не живут вместе. Переводить слово *Trennung* в этом употреблении как *разлука* совершенно неправильно, и указание А. Павловой, что эквивалентность этих слов «абсолютно точная», может ввести в заблуждение неопытного переводчика. Если же человек, уехавший в длительную командировку и страдающий от разлуки с женой, напишет в анкете на вопрос о семейном положении *getrennt*, он даже может быть обвинен в намеренном искажении фактов.

Не лучше обстоит дело и с рассуждениями А. Павловой о переводе слова *соскучиться*. Вот цитата: «*Скучать, соскучиться* — также вряд ли можно рассматривать как специфические ключевые идеи русской языковой картины мира. *Как же я соскучился!* — *Ich habe dich vermisst; du hast mir gefehlt* — эквивалентность соблюдена по всем семантическим составляющим» [52]. Во-первых, слова странно называть «идеями», да еще «ключевыми». Во-вторых, А. Павлова предлагает переводы для слова *соскучиться*, а в приведенном сразу же после этого примере переводит глагол *vermisst* как *скучает*. Но *скучать* и *соскучиться* не совпадают по смыслу (слово *скучать* статично, в нем нет динамики развития чувства, присутствующей в слове *соскучиться*), так что предлагаемые переводы не могут быть эквивалентами «по всем семантическим составляющим» сразу для обоих русских глаголов. Наконец, предложенные переводы вовсе не совпадают по

смыслу с русскими словами, скорее немецкие конструкции означают нечто вроде *Мне тебя не хватало*. Они могут быть сказаны после званого вечера, на котором не было адресата речи, и вовсе не обязательно имплицитно, что говорящий *скучал* или *соскучился*.

Переходя к статье Анны А. Зализняк о глаголе *добираться*, А. Павлова сообщает, что этот глагол «переводится на немецкий обычно двумя способами: *добираться долго* — *j-d braucht lange bis nach...*; *кто-либо наконец добрался* — *j-d hat es bis nach... endlich geschafft*. Она добавляет: «В обоих случаях эквивалентность не страдает» [53]. Вообще говоря, перевод в случаях, когда какие-то семантические компоненты поддерживаются контекстом – относительно легкая задача. Значительно труднее перевести вопрос о маршруте *Как до вас добраться?* или фразу *легко и быстро добрался*, сохранив при этом представление, что путь мог или может быть долгим и трудным, но не помещая это представление в фокус внимания.

Далее А. Павлова пишет: «Идея *собираться, чтобы что-либо совершить*, в немецком передается таким количеством синонимичных выражений, что нужно быть очень наивным человеком, чтобы выдвигать тезис об уникальности подобной идеи для русской языковой картины мира (сиречь русской культуры): *Anstalten machen, drauf und dran sein, sich anschicken, sich ein Herz fassen, gerade dabei sein*». Тут можно заметить, что по-русски обычно говорят не *собираться, чтобы что-либо совершить*, а просто добавляют к слову *собираться* инфинитив, но это не так существенно. Более всего поражает, что А. Павлова, чуть выше решительно возражавшая против того, чтобы «замкнуть культуру на язык и объявить их идентичность» [50], здесь не просто «замыкает» культуру на язык, а прямо отождествляет русскую языковую картину мира и русскую культуру. При этом она и в этом случае не производит семантического анализа ни русского глагола, ни немецких выражений, предлагаемых в качестве его эквивалентов.

После этого А. Павлова вновь возвращается к теме лени, и говорит, что «вести дискуссию о том, является ли лень ключевой идеей русской культуры или все-таки это явление не сугубо специфичное, кажется занятием бессмысленным» [53]. С этим, безусловно, всякий должен согласиться. Более того, лишенной смысла представляется и сама формулировка темы для «дискуссии». Называть лень «идеей», не конкретизируя, в чем состоит эта идея, вообще несколько странно; что же касается до того факта, что явление лени известно многим народам и имеет обозначение во многих языках, то его, насколько я знаю, никто не подвергал сомнению. Когда А. Павлова говорит, что в немецком языке есть «точные эквиваленты русского *neохом*: *Er war zu unlustig, hinzufahren; Er hatte keine Lust*

hinzufahren. — *Ему было неохота туда ехать*», то очевидно, что имеет место нечто вроде недоразумения: одиночное *неохота* (в ответ на предложение нечто сделать) означает не ‘ему неохота’, а ‘мне неохота’. Столь же очевидно, что поиски немецких соответствий, претендующих на то, чтобы быть «точными эквивалентами», должны учитывать различия между русскими выражениями *(мне) не хочется*, *(мне) неохота*, *(мне) лень*, экспрессивно-ироническим выражением *охота была* и т. п.⁴¹

Особенно показательны высказывания А. Павловой, завершающие обсуждение темы лени: «никому не приходит в голову говорить о "типично немецкой лени", но говорить о "типично русской лени" тоже приходит в голову людям, далеким от лингвистики» [53-54]. Казалось бы, всем известно, что лингвистика как раз и изучает речь самых обыкновенных носителей языка, в том числе (и в первую очередь) «людей, далеких от лингвистики». В текстах на русском языке сочетание *русская лень* довольно частотно, и этот факт нуждается в фиксации и объяснении.

Следующий абзац А. Павлова начинается утверждением: «"В высшей степени специфично для русского языка", по мнению авторов книги "Ключевые идеи...", слово *заодно* в значении ‘кстати, попутно, одновременно с чем-либо другим’» [54]. Это утверждение в очередной раз вводит читателя в заблуждение, поскольку в статье, на которую ссылается А. Павлова, мы как раз обосновываем отличие слова *заодно* от слов *кстати* и *попутно* (слово *одновременно* еще дальше отстоит по значению от слова *заодно*). По мнению А. Павловой, мнение «о специфичности этого значения для русского языка опровергается массой примеров из немецкого, а именно глаголами с приставкой *mit-*». Однако значение данной приставки значительно шире, нежели значение слова *заодно* (которое мы описываем следующим образом: «*Делая Q, X заодно делает P* ‘принимая во внимание, что большая или по крайней мере значительная часть действий, которые необходимо выполнить, чтобы сделать *P*, будет или уже была выполнена для осуществления *Q*, *X* принимает решение сделать также и *P*, которое при иных обстоятельствах, возможно, не стал бы делать или отложил бы’»). Вследствие этого, как признает сама А. Павлова, частотность немецких глаголов с приставкой *mit-* существенно выше, нежели частотность слова *заодно* в русских текстах⁴².

⁴¹ Отметим, что в третьем лице экспрессивно-иронические выражения *и не лень ему* <нечто делать>, *охота ему* <нечто делать> обычно указывают не на лень третьего лица, а наоборот, на некоторое недоумение говорящего по поводу того, что человек развил бурную деятельность.

⁴² В нашей книге немецкие глаголы с приставкой *mit-* не рассматриваются. Им посвящен особый раздел статьи [Zalizniak, Shmelev 2007]; впрочем, и в этой статье немецкие глаголы используются лишь как фон для сопоставления при описании латинских глаголов с приставкой *com-*.

После этого А. Павлова переходит к обсуждению статьи Анны А. Зализняк «О семантике щепетильности». Следует заметить, что в статье Анны А. Зализняк «щепетильность» выступает как условный ярлык для некоторого семантического компонента. Основное внимание в ней уделяется слову *обида* (а также *обидно*, *обидеть* и *обидеться*) и, в меньшей степени, словам *неловко*, *неудобно* и *совестно* (русское слово *щепетильность* в ней вовсе не анализируется). Никаких переводов указанных русских слов А. Павлова не предлагает; вместо того она приводит примеры лингвоспецифичных немецких слов, которые, по ее мнению, выражают семантику щепетильности. Семантическим анализом она это, как и в прочих случаях, не сопровождает. Можно видеть, что приводимые ею немецкие слова и выражения содержат несколько иные семантические компоненты, нежели тот, который Анна А. Зализняк обозначила словом «щепетильность». Так, глагол *beschämen* и прилагательное *peinlich* скорее выражают значение чего-то постыдного, когда с человеком связано нечто такое, из-за чего другие люди могут думать о нем хуже.

Между тем русское слово *щепетильность*, несомненно, заслуживает специального анализа. Его можно сопоставить со словом *мелочность* и в первом приближении описать следующим образом: оба слова указывают на пристальное внимание к «мелочам», но с противоположных точек зрения. В финансовом плане *мелочный* человек будет требовать от другого человека вернуть деньги, сколь бы незначительным ни был долг, а *щепетильный* человек сам будет стремиться вернуть даже небольшие деньги. В плане нюансов отношений между людьми *мелочность* и *обидчивость* противостоят *щепетильности* и *деликатности*: а именно, *мелочные* и *обидчивые* люди обращают внимание на неудобства, которые им причинили другие люди, тогда как *щепетильные* и *деликатные* люди стремятся не причинять неудобств другим. Интересна также история слова *щепетильность*, его культурный ореол в разных типах дискурса. Отдельную проблему может составить перевод слов *щепетильный* и *щепетильность* в разных типах контекстов; однако на этот счет А. Павлова не высказала никаких предложений.

Вместо заключения

Завершая свой разбор примеров из нашей книги, А. Павлова приводит наше высказывание, в котором мы отмечаем, что успехи современной семантики позволяют «говорить о реконструкции русской языковой картины мира в целостности», и комментирует его следующим образом: «Иными словами, "ключевые идеи" русской культуры обнаружены и описаны полностью» [55]. Отвлечемся от того, что она опять не различает языковую картину мира и культуру, и заметим, что ее интерпретация нашего высказывания явно неверна. Действительно, формально оборот «можно говорить о...»

неоднозначен, но кажется очевидным, что в контексте нашего высказывания он означает 'поставить вопрос о...'. У А. Павловой же получается, что *говорить о реконструкции* – это значит уже *осуществить реконструкцию*⁴³.

Увлечшись своей интерпретацией, А. Павлова в качестве возражения нам сообщила, что «книга содержит далеко не полную "русскую языковую картину мира"» [55]. Разумеется, сказанное совершенно справедливо; однако пожелания А. Павловой, указывающей, как нам следовало бы дополнить наше описание, могут служить наглядным свидетельством того, к каким несуразностям можно прийти, если последовательно избегать семантического анализа. Приведу обширную цитату: «Можно было бы рассмотреть особое, интимное отношение русского человека к Богу, греху (на этих "концептах" покоятся столь многочисленные идиомы, что нет возможности открывать здесь их список), бережное отношение к юродивым и нищим духом (*юродивый, божий человек, кликушествовать*), интерес к волшебникам и волхвам (*знамение, знак свыше, откровение, старец*), а также искренность русского человека (*как на духу, правду-матку резать, говорить правду в глаза, правда глаза колет, рубить с плеча*), неспособность приравниваться к порядку и регламентациям (*лихач, семь бед — один ответ, где наша не пропадала, эх, была — не была*), особое отношение к красоте (*пригожий, ладный, справный*) и интенсивность переживания прекрасного (*благодать, благолепие*), необыкновенную русскую *смекалку*, а также *сноровку* и множество других "сквозных мотивов русской языковой картины мира"» [56].

В чем заключается «особое, интимное отношение русского человека к Богу, греху», А. Павлова не пояснила; какие русские выражения о нем свидетельствуют, тоже осталось неясным. Касательно «особого отношения к греху» еще можно предположить, что имеются в виду такие языковые единицы, как уже упоминавшееся слово *греховодник*, устойчивое выражение *грех жаловаться*, идиомы *не грех* и *не грешно*, а также характерный оборот *грешить на* <кого-либо>. Этот последний оборот заслуживает отдельного обсуждения, поскольку он в самом деле в высокой степени лингвоспецифичен. В нем представление о том, что 'грешно обвинять другого человека без достаточных оснований', соединено с мнением, что вероятность истинности такого обвинения довольно высока. Именно поэтому оборот *грешить на* <кого-либо> может употребляться в первом лице (*Не знаю, кто это сделал, но грешу на Ваню*)⁴⁴, в отличие, скажем, от

⁴³ Это позволяет вспомнить обсуждение реформы немецкого правописания в 1990-е гг. Как известно, во фразе *Он решил ее соблазнить* в русском языке не нужна запятая после *решил*, а по старым немецким правилам в этом случае полагалась запятая. Традиционалисты, доказывая, что запятая здесь необходима, замечали: запятая напоминает, сколь велика пропасть, пролегающая между решением и его исполнением.

⁴⁴ Подробнее оборот *грешить на* <кого-либо> рассматривается в статье [Булыгина, Шмелев 1994: 50].

английского глагола *to allege* 'безосновательно утверждать' (для которого употребление в первом лице ведет к «иллюкутивному самоубийству» [Vendler 1976]). Что касается до «особого, интимного отношения русского человека к Богу», то здесь у меня нет даже самых приблизительных гипотез относительно того, что может иметь в виду А. Павлова.

То, что в качестве иллюстрации «бережного отношения к юродивым и нищим духом» А. Павлова приводит глагол *кликушествовать*, весьма показательно и свидетельствует о ее крайней небрежности. Глагол *кликушествовать*, как и существительное *кликуша*, выражают резко отрицательную оценку *кликушества*, т. е. беснования (подлинного или симулированного). В современном языке слова *кликушествовать*, *кликуша* и *кликушество* употребляются преимущественно в переносном смысле, но сохраняют компонент отрицательной оценки⁴⁵.

Каким образом А. Павлова усмотрела в семантике слов *знамение*, *знак свыше*, *откровение*, *старец* «интерес к волшебникам и волхвам», остается очередной загадкой; мне, напр., кажется очевидным, что в их значении отсутствуют семантические компоненты, которые могли бы свидетельствовать о таком интересе. Какое отношение «волшебники и волхвы» имеют, скажем, к строчке Бориса Пастернака *Осень, чистая, как знаменье?*

Слово *искренность* и ряд связанных с ним выражений (*правда-матка*, *резать правду* и др.) рассмотрены в статье А. Вежбицкой «Русские культурные скрипты», включенной в нашу книгу в качестве приложения [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 467-499]. В этой статье А. Вежбицка формулирует, в частности, такие русские культурные скрипты: *хорошо, если человек хочет сказать другим людям, что он думает; хорошо, если человек хочет сказать другим людям, что он чувствует*. То, что А. Павлова не заметила этого анализа, говорит о ее невнимательности⁴⁶.

«Особое отношение к красоте», по мнению А. Павловой, отражено в русском языке в таких словах, как *пригожий*, *ладный*⁴⁷, *справный*. В чем заключается это «особое отношение» и какой тип красоты имеется в виду, А. Павлова, как всегда, не говорит. Остается неясным, почему она выбрала прилагательные, относительно редкие в современной городской разговорной речи, и при этом даже не упомянула лингвоспецифичное прилагательное *красивый* (рассмотренное, кстати, в статье [Шмелев

⁴⁵ Истории слова и понятия *кликуша* подробно рассмотрена в статье [Кравецкий 2012].

⁴⁶ А то, что в связи с искренностью упоминает выражение *как на духу*, в очередной раз свидетельствует о небрежности. То, что человек не лжет на исповеди, обусловлено не его «искренностью», а религиозными представлениями, которые ни в коей мере не являются специфичными для русских.

⁴⁷ Слово *ладный* (а также его синонимы *стройный*, *изящный*, *статный*) рассмотрены в статье [Урысон 2004].

2004]). Столь же неясно, почему слово *благодать*, по ее мнению, иллюстрирует «интенсивность переживания прекрасного».

Наконец, вызывает удивление отнесение *смекалки* и *сноровки* к «сквозным мотивам русской языковой картины мира». Во-первых, непонятно, в чем состоят эти «мотивы»; во-вторых, мотив может считаться сквозным, если он представлен в самых разных языковых единицах, а каждый из «мотивов», которые А. Павлова обнаружила в словах *смекалка* и *сноровка*, представлен всего лишь одним словом.

В следующем абзаце статьи А. Павловой несуразностей не меньше. Он начинается странным заявлением: «Для полноты "русской языковой картины мира" можно было бы присовокупить и некоторые отрицательные характеристики среднестатистического "русского человека"». Мы видим, что опять появился излюбленный А. Павловой «среднестатистический русский человек», но так и не сообщается, что понимается под выражением «среднестатистический русский человек» и как определяются указанные «характеристики». Кроме того, совершенно непонятно, какое отношение имеют «характеристики среднестатистического русского человека» к русской языковой картине мира. Наконец, вызывает вопросы и слово «отрицательные». Под этим может иметься в виду взгляд «изнутри» (свойства, оцениваемые отрицательно в русском языке и в русской культуре) и взгляд, предполагающий внешнюю оценку (нечто принимается как должное или даже оценивается положительно в русском языке и в русской культуре, но с «общечеловеческой» точки зрения должно быть признано дурным).

Далее выясняется, что А. Павлова имеет в виду этностереотипы. Здесь надобно согласиться, что этностереотипы имеют отношение к языковой картине мира (в ней отражаются некоторые представления о русских и о других народах), но ведь они составляют лишь ее небольшой фрагмент. В нашей книге, о которой пишет А. Павлова, с этностереотипами можно каким-то образом связать лишь незначительное число проанализированных нами языковых выражений (не более двух-трех десятков). Тем самым включение в рассмотрение еще некоторых этностереотипов не привело бы к полноте описания языковой картины мира.

Возможно, А. Павлова так и не разобралась, как соотносятся этностереотипы и элементы языковой картины мира. Этностереотипы – это ходячие представления о своем и некоторых других народах. Некоторые этностереотипы отражаются в языке и в этом случае входят в языковую картину мира; это проявляется, напр., в сочетаемости языковых единиц (в русском языке лингвистически отмеченными оказываются сочетания *русский авось* или *галантный француз*). Однако основная часть составляющих языковой картины

мира с этностереотипами никак не связана (в самом деле, с какими этностереотипами можно связать тот факт, что помидоры в русской языковой картине мира относятся к овощам, а малина – к ягодам?). Бывает, что одна и та же языковая единица в некоторых употреблениях связывается с этностереотипом, а в других – нет (напр., сочетание *русский авось* связано с этностереотипом ‘русские часто без достаточных оснований надеются на счастливый исход дела и не принимают во внимание возможный риск’, а фраза *авось, еще увидимся* – едва ли).

Какие же «этностереотипы», отражающие «отрицательные характеристики среднестатистического русского человека», имеет в виду А. Павлова? Она перечисляет их, сопровождая примерами слов, в которых, по ее мнению, эти этностереотипы проявляются. Вот что она пишет: «...пьянство и особое к нему отношение (обилие слов и выражений на тему пьянства вынуждает не приводить здесь отдельных примеров), взяточничество (*нагреть руки, брать борзыми щенками, подмазать*) и вороватость (*стибрить, стянуть, слямзить, тянуть что плохо лежит*), а также завистливость (*черная зависть, глаза завидующие, наговаривать, оговаривать, хула, наветы*)» [56].

Нелегко понять, в чем А. Павлова видит «пьянство и особое к нему отношение» как характеристику «среднестатистического русского человека» (ее нежелание привести хоть один вразумительный пример весьма показательно). Несомненно, этностереотип русских включает склонность к пьянству и способность много выпить. В целом в текстах русской культуры это не всегда оценивается отрицательно – скажем, многие русские анекдоты, в которых обыгрывается это свойство, могут быть отнесены к разряду *self-glorifying* (в смысле [Raskin 1985])⁴⁸. Но вот в языке следов снисходительного или даже восторженного отношения к выпивке и пьянству не так много. Слова и фразеологизмы, описывающие состояние опьянения и пьяных людей, как правило, в русском языке окрашены отрицательно (как и во многих других языках). Слова, связанные с выпивкой и имеющие положительную окраску (напр., диминутивы *водочка, закусочка, селедочка, грибочки, огурчики*), обычно относятся не к пьянству как таковому, а к сопровождающему совместную выпивку задушевному общению (об этом идет речь в статье «Хорошо сидим!

⁴⁸ Напомним один из таких анекдотов: *Идет олимпиада. И решили алкоголики всего мира устроить свою олимпиаду – кто больше выпьет. Соревнования решили проводить ковшиками. Комментатор: «На помост выходит американский спортсмен. Первый, второй, третий, четвертый, пятый – сломался. Пока с помоста выносят американского спортсмена, на трибунах русский спортсмен разминается красненьким. На помост выходит французский спортсмен. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый – сломался. Французского спортсмена выносят с помоста, а в это время русский спортсмен на трибунах разминается красненьким. На помост выходит русский спортсмен. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый – сломался. Пока чинят ковшик, русский спортсмен разминается красненьким».*

(Лексика начала и конца трапезы в русском языке)», написанной мною совместно с И.Б. Левонтиной и включенной в книгу [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005]).

Понятно, что взяточничество, вороватость и завистливость в русской культуре оцениваются отрицательно (об этом же свидетельствует отрицательная оценка, встроена в значение большинства выражений, приводимых А. Павловой). Тщательный лингвистический анализ мог бы внести коррективы в эту картину и обнаружить ситуации, в которых отрицательная оценка почти исчезает. Так, слова *стибрить* и *слямзить* могут не включать решительного осуждения соответствующего действия, которое не рассматривается как настоящая «кража»⁴⁹. То, что благополучие может вызывать зависть, иногда воспринимается как норма – это видно из того, что декларируемое отсутствие зависти может свидетельствовать о неблагополучии (*не завидую <такому-то>; незавидное положение*). Тем не менее сами слова *вороватость* и *завистливость* никогда не лишаются отрицательного оценочного компонента. При этом никакого указания на «русского человека» в семантике слов, связанных с взяточничеством, вороватостью и завистливостью, нет.

Таким образом, мы видим, что отказ от семантического анализа и замена его общими словами и туманными декларациями не способствует ясности понимания. Проникнуть в проблему соотношения языка и культуры, ограничиваясь такими декларациями и не анализируя языковой материал, как и следовало ожидать, оказалось невозможно.

Один из разделов своей статьи А. Павлова назвала «Имеет ли смысл полемизировать с лингвокультурологией?». В связи со статьей самой А. Павловой встает аналогичный вопрос: имело ли смысл заниматься ее подробным разбором? Мне кажется, что на этот вопрос можно дать положительный ответ.

Дело в том, что характерные особенности статьи А. Павловой обнаруживаются, хотя и в несколько менее концентрированном виде, во множестве отечественных работ (особенно диссертационных), посвященных соотношению языка и культуры. Это, прежде всего, отсутствие семантического анализа языковых единиц и потому чрезвычайно прямолинейный взгляд на возможность судить о культуре на основе языковых данных. К числу других характерных черт, объединяющих статью А. Павловой и многие отечественные работы по «лингвокультурологии», относятся: отсутствие строгой методологии; декларативность без опоры на языковые факты; оперирование отдельными специально подобранными примерами вместо проверки делаемых утверждений на всем

⁴⁹ Это, впрочем, не является исключительной особенностью русского языка. В «Приключениях Тома Сойера» Марка Твена говорится: "...taking sweetmeats was only "hooking," while taking bacon and hams and such valuables was plain simple *stealing* – and there was a command against it in the Bible."

массиве языковых данных; отсутствие исторической перспективы (представление о культуре как о чем-то неизменном, неспособном к развитию); отсутствие внимания к жанрам, стилю и назначению текстов.

Однако крайне низкий уровень многих отечественных диссертаций хорошо известен. А вот зачем лингвисту, который когда-то писал вполне осмысленные работы, посвященные соотношению просодической структуры высказывания и семантики используемых лексических единиц, было поддаваться общему поветрию, осталось совершенно неясно. Как бы то ни было, можно надеяться, что предпринятая мною попытка педантичного описания на материале статьи А. Павловой разнообразных ошибок и нелепостей в области «лингвокультурологии» позволит добросовестным лингвистам в дальнейшем хотя бы отчасти избегать таких ошибок и нелепостей.

Библиография

Апресян Ю.Д. Избранные труды, т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995.

Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Аспекты теории фразеологии. М., Знак, 2008.

Березович Е.Л. Язык и традиционная культура. М.: «Индрик», 2007.

Булдыгина Т.В., Шмелев А.Д. Оценочные речевые акты извне и изнутри // Логический анализ языка. Язык речевых действий. Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Н.К. Рябцева. М.: Наука, 1994. С. 49-58.

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М.: Изд-во МГУ, 1973.

Виссон Л. Русские проблемы в американской речи. Слова и фразы в контексте двух культур. М.: Р. Валент, 2007.

Живов В.М. Грѣховодник. К истории слова и понятия // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. М.: Языки славянских культур, 2009. С. 405-430.

Зализняк Анна А. Об эволюции концепта *отдыхать* в русском языке // «Слово – чистое веселье»: Сб. статей в честь Александра Борисовича Пеньковского. / Отв. ред. А.М. Молдован. М.: Языки славянской культуры, 2009. С. 63-76.

Зализняк Анна А. Русская семантика в типологической перспективе. К вопросу о термине ‘языковая картина мира’ // Russian Linguistics. April 2013. 37, Issue 1. P. 5-20.
Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005.

Зализняк Анна А., Шмелев А.Д. Время суток и виды деятельности // Логический анализ языка. Язык и время. М.: Издательство «Индрик», 1997. С. 229-240.

Копчевская-Тамм М., Рахилина Е.В. С самыми теплыми чувствами (по горячим следам Стокгольмской экспедиции) // Типология и теория языка: от описания к объяснению : Сб. к 60-летию А.Е. Кибрика / Ред. Е.В. Рахилина, Я.Г. Тестелец. М. : Языки русской культуры, 1999. С. 462-487.

Кравецкий А.Г. Кликуши: к истории слова и понятия // // История понятий в свете истории русской культуры / Отв. ред. В.М. Живов, Ю.В. Кагарлицкий. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 109-128.

Крысин Л.П. Этностереотипы в современном языковом сознании: к постановке проблемы // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. С. 450-455.

Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских культурных традиций. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.

Левонтина И.Б. Слова-свидетели // Мова тоталітарного суспільства. Київ, 1995. С. 93-99.

Левонтина И.Б. Откуда есть пошла русская душа? // Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Константы и переменные русской языковой картины мира. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 313-322.

Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. На своих двоих: лексика пешего перемещения в русском языке // Логический анализ языка. Языки динамического мира. Дубна: МУПОЧ «Дубна», 1999. С. 269-285. (Перепечатано в книге: [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005. С. 76-95].)

Павлова А. Можно ли судить о культуре народа по данным его языка? // Антропологический форум. 2012. №16 Online. С. 3-60.

Плунгян В.А., Рахилина Е.В. «С чисто русской аккуратностью...» (к вопросу об отражении некоторых стереотипов в языке) // Московский лингвистический журнал. 1996. Т. 2. С. 340-351.

Симина Г.Я. Из наблюдений над языком и стилем романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // Изучение языка писателя. Л.: Учпедгиз, 1957. С. 148-160.

Словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. Т. 1. М.: Русский язык, 1981.

Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1. М.: Государственный институт «Советская энциклопедия», 1935.

Урысон Е.В. Эстетическая оценка тела человека в русском языке // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного. М.: Языки русской культуры, 2004. С. 471-486.

Черняк В.Д. Лакуны в тезаурусе и культурная грамотность // Лакунарность в языке, картине мира, словаре и тексте. Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. пед. ун-та, 2009. С. 92–101.

Чоудхури О.Л. Номинативное поле концепта «зима» как предмет обучения русскому языку финских студентов: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2011.

Шаховский В.И. Эмоции. Долингвистика. Лингвистика. Лингвокультурология. М.: Либроком, 2009.

Шмелев А.Д. Плюрализм этических систем в свете языковых данных // Логический анализ языка. Языки этики. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 380-389.

Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 2002.

Шмелев А.Д. Виды эстетической оценки в представлении русского языка // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного. М.: Языки русской культуры, 2004. С. 303-311.

Шмелева Е.Я. О словах *компромисс* и *бескомпромиссный* // История понятий в свете истории русской культуры / Отв. ред. В.М. Живов, Ю.В. Кагарлицкий. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 196-203.

Языковая картина мира и системная лексикография / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М.: Языки славянских культур, 2006.

Chomsky N. Linguistics and Cognitive Science // The Chomskyan Turn. Cambridge, MA: Basil Blackwell, 1991. P. 3-25.

Leinonen M. Finnish and Russian as They Are Spoken: from Linguistic to Cultural Typology // Scando-Slavica. 1985. 31. P. 118-144.

Raskin V. Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht: Reidel, 1985.

Sériot P. Oxymore ou malentendu? Le relativisme universaliste de la metalangue semantique naturelle universelle d'Anna Wierzbicka // Cahiers Ferdinand de Saussure. 2005. No. 57. P. 23-43.

Vendler Z. Illocutionary Suicide // Issues in the Philosophy of Language. Ed. by Alfred F. MacKay and Daniel D. Merrill. New Haven: Yale Univ. Press, 1976. P 135-145.

Weiss D. Zur linguistischer Analyse polnischer, russischer und deutscher "key words" bei Anna Wierzbicka: Kulturvergleich als Sprachvergleich? // Berührungslinien. Polnische Literatur und Sprache aus der Perspektive des deutsch-polnischen kulturellen Austauschs / Hrsg. von M. Marzałek, A. Nagórko. Hildesheim, N.Y.: Olms-Weidmann, 2006. S. 233-256.

Wierzbicka A. Angst // Culture & Psychology. 1998. 4 (2). P. 161-188.

Zalizniak Anna A., Shmelev A.D. Sociativity, conjoining, reciprocity, and the Latin prefix *com-* // Reciprocal constructions. 2007. Vol. 1. P. 209-229.